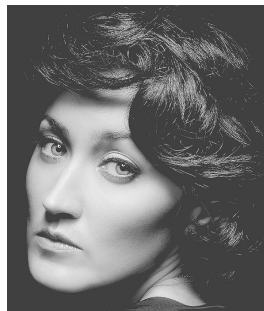


# Светлана Замелова



## МАКАРУШКА

Ещё до освобождения крестьян, в Москве на Вороньей улице, в Рогожской слободе, в доме мещанина Пафнутия Осиповича Трындина, исповедовавшего древлеправославную веру, появился на свет мальчик Макарий. Или, как его попросту стали называть, Макарушка.

Отец Макарушки – Пафнутий Осипович – имел небольшую мучную торговлю на той же Вороньей улице. Мать блюла заветы старины, доглядывая, как бы кто из домашних чего не нарушил, и потихоньку мечтала о невиданном доселе благочестии. Ещё бывшей в тяжести ей хотелось получить знамения. Вернее, мечталось ей, чтобы младенец стяжал судьбу праведника и чтобы в подтверждение тому был дан ей какой-нибудь знак. Втайне дерзала помышлять она о взыгрании во чреве. Но младенец, если и поворачивался, то играть никак не хотел, а равно и голоса не подавал. Да и родился Макарушка обыкновенным, как все младенцы: красным и крикливым. И ничто не свидетельствовало об ожидавшей его необычайной судьбе. Разве только в ночь перед появлением Макарушки загорелись на соседнем дворе рогожи, и скверно пахло. Сначала никто в целом доме, кроме какой-то старухи, которая даже неизвестно, кому и кем доводилась, не отметил связи между возгоранием и родами.

– Ишь ты, жоглый какой народился, – проскрипела старуха, взглянув на новорожденного.

Но её прогнали. И только спустя год, когда старухи-то и в живых уже не было, о рогожах вспомнили и старухину правоту признали. Неспроста смердели загоревшиеся рогожи в час, когда роженица в первый раз вскрикнула.

– Что это он у тебя, Матрёна Агафагеловна, будто всё... тычется? – спросила как-то соседка, рассматривавшая Макарушку, который играл на полу и поминутно на что-нибудь натёкался.

Но Матрёна Агафагеловна и сама уже отметила в сыне изъян. Дым от рогож будто бы выел ему глаза, и Макарушка, чтобы рассмотреть попадавшие в руки вещицы, подносил их вплотную к лицу. Когда же Макарушка подрос, опасения подтвердились: глаза его были настолько слабы, что даже учиться чтению и письму он не смог. Цветом глаза его были черны, взгляд их казался неподвижен. И всякому, на кого смотрел Макарушка, становилось не по себе, потому что было не ясно: то ли он смотрит не видя, то ли, напротив, видит скрытое от других.

Чёрные волосы Макарушки отливали в синеву, белая, на зависть девицам, кожа всегда была бледной. Никто не видел, чтобы Макарушка улыбался и уж



тем более смеялся. Но это никого не смущало, потому что Христос, по Писанию, тоже не улыбался, а значит, смех – занятие лукавое, дозволяемое по слабости. Хотя, конечно, человека сложно корить смехом, в особенности, если этот человек – дитя. И всё же Макарушка – что бы ни делал – стоял ли в церкви, сидел ли возле маменьки у окна с геранью, играл ли на улице в бабки – ни разу ничему не улыбнулся. Между тем, несмотря на слабые глаза, в игре в бабки Макарушке равных не было. Подобно хромым кузнецам или слепым певцам, неподражаемым в единственно доступном делании, Макарушка слыл непревзойдённым игроком. Мальчиком обыгрывал он и сверстников, и старших себя, получая в качестве вознаграждения бабки со всей округи. После чего бабки у него выкупались, игра начиналась сызнова, а у Макарушки собирался капитал. Так шло до той поры, пока Макарушка не заскучал.

Человек на то и родится, чтобы скучать. А уж разгоняет скуку всяк по-своему. Оттого-то один в петле, другой – в кабаке, а третий – во храме Божиим. Жизнь по-древлепрепрославленному протекала своим особенным чередом, и Рогожская слобода не во всём походила на остальную Москву. Всех развлечений для Макарушки было в бабки играть да в баню ходить. А то ещё – сиди подле маменьки перед уставленным цветами окном и смотри на улицу. Вот так посидит Макарушка и вздохнёт:

– Скучно, маменька...

– А ты сходи к дедушке, помолись вместе с ним, бес-то и отпустит.

Пойдёт Макарушка, помолится – а всё равно скучно. Чего-то всё хочется Макарушке, так и клокочет внутри. Не то взлететь бы, не то закрутиться на месте, да и покатиться бы по Вороньей улице. Удивиться хочется. Испугаться. Вдохнуть побольше... и выдохнуть.

Только всё как будто застыло вокруг: дедушка бормочет псалмы, стучит маменька спицами, пахнет герань на окошке... Точно время остановилось, точно воздух, вобрав в себя звуки и запахи, притаился без движения.

Говорят, на Москве много весёлого. Но бесовское то веселье. А познание, что из книг – грех один. Есть книги древлепрепрославленные, есть Писание, есть молитвы, есть, в конце концов, порядок, раз и навсегда заведённый, ради сохранения которого и стоит Рогожская слобода. А больше ничего нет, потому что всюду грех... грех... грех...

– Скучно, маменька...

Проходит год, другой...

Отстояли обедню, наиграл Макарушка бабок, съездили в Полуярославские бани со своими тазами. И опять: стучат спицы, дедушка бормочет за стенкой и нестерпимо пахнет герань.

Отчего это – грех пойти в никонианскую церковь? Оттого что они безблагодатные. Отчего же никониане безблагодатные? А кто «Исус» с двумя «и» пишет и персты кощунственно складывает?..

Стучат спицы, бормочет дедушка, алеет герань на окошке...

Скучно, маменька!..

А в Сергиевской церкви, что здесь же, на Вороньей улице, иконы до Никона писанные. И в Алексеевской церкви, что на Подкопе, иконы старого письма. Как же они безблагодатные? Но узнал отец, что бегал Макарушка в Сергиевскую церковь, и высек. Узнал, что в другой раз бегал, и в другой раз высек. Не бил бы отец, не

пугала бы маменька грехом, не страшал бы дедушка землёй разверстой, не сулил бы судьбы Дафана и Авирона – глядишь, и не пошёл бы Макарушка в третий раз.

Встал он поближе к клиросу и подтягивает. И хорошо Макарушке в безблагодатной церкви, а отчего – не знает.

Дошло до отца про третье хождение к никонианам, и так отец высек, что занемог Макарушка. А когда оправился – к Покрову – на дворе пуховым платком лежал снег. Хотел было Макарушка снег потоптать – обувки нет. Спрятали сородичи, чтобы к безблагодатным не бегал. Посидел Макарушка дома и босым пошёл по Вороньей улице, оставляя на снегу отпечатки своих широких, плоских ступней – точно дыры на белом платке.

Сидеть взаперти, да ещё в то время, когда давно уже разрушена допетровская тишина, когда мир день ото дня возвращается всё быстрее, а соблазны множатся, словно грибы дождливым летом – такую выдержку нечасто встретишь. Даже тех, кого выпестовала Рогожская и внушила гордое презрение к безблагодатным, однажды может призвать жизнь, и кто устоит против этого зова? Попытавшийся не заметит, как изуродует себя. И вот уже он влачится той же дорогой, что и лишённые благодати, только с вывороченными стопами и перекрученной шеей.

Но оказалось, что Макарушка не из тех натур, кто согласен ходить вперёд затылком. Зажил бы Макарушка обычной жизнью – да тесно. Соблюл бы заветы старины – да скучно. Где тот завет, что крылья не вяжет? Где та жизнь, что ноги не путает? Повстречайся бы Макарушке хоть кто-то, кто сумел бы наставить не битьём и стращанием, и явился бы, глядишь, невиданный в мире праведник.

В Сергиевской церкви Макарушку знали по-соседски и радовались ему, как, впрочем, и всякий раз, когда заблудшие овцы являлись к единому Пастырю.

– Ты приходи... – тихо говаривал Макарушке Герасим, маленький, подвижный старичок, при взгляде на которого всегда казалось, что вот сейчас он непременно подпрыгнет. Но Герасим не подпрыгивал, а только переминался, приседал и то и дело появлялся там, где его не ожидали увидеть.

Когда после Литургии Герасим заметил, что Макарушка, во-первых, бос, а во-вторых, не спешит уходить и топчется возле свечного ящика, как будто обронил в него какое-то сокровище, старик забеспокоился. Беспокойство и недоумение он выразил весьма скупой, неожиданно возникнув перед Макарушкой, переминовавшимся у ящика:

– Ты чего здесь?

Макарушка взглянул на него своими странными – не то невидящими, не то всевидящими – глазами и ответил столь же скупой:

– Домой не пойду.

Надо полагать, что на этом и старец, и отроча поняли друг друга как нельзя лучше. Потому что Герасим без лишних слов увёл Макарушку к себе. А Макарушка отнюдь не сопротивлялся переселению на новое место. Тем более что староста был вдов, бездетен и жил один.

У Герасима отыскались для Макарушки сапоги и какая-то верхняя одежка, настолько, впрочем, затёртая и потерявшая всяческие очертания, что и приличного бы названия для неё не нашлось.

Макарушка всё это принял молча и два дня проходил в сапогах. После чего сапоги скинул. И уже возле дома Герасима появились на уплотнившемся снежном платке чёрные дыры от Макарушкиных пяток.

– Ты чего босой? – скупое, по своему обыкновению, удивился Герасим.

– Спадает... – неопределённо пояснил Макарушка, отказавшись заодно и от чуйки.

Герасим хоть и косился неодобрительно на босого и полураздетого Макарушку, но спорить не стал, позволив странному отроку чудить до поры. Пропавшая овца была найдена, а сапоги – дело наживное. Побегает босой и обуется.

За ужином на третий день новоселья и совместного жития Герасим очень серьёзно спросил у Макарушки:

– Желает ли ты к истинной Церкви освящённым елеем примазаться и приобщиться Спасовых тела и крови?

Но Макарушка только взглянул на Герасима своими странными глазами и не сказал ничего.

Между тем, родители Макарушки начали поиски блудного сына. Несколько дней его поджидали, уповая, главным образом, на холод и, конечно, на страх, который, по мнению старших Трындиных, должен был обратить стопы их младшего под отчий кров. Но Макарушка, не убоившись ни разверстой под ногами земли, ни коросты проказы, ни удавки иудиной, домой не спешил. Из чего Трындины заключили, что заблудивший Макарушка «совсем страх потерял». И решили начать поиски, чтобы уже силой и данной Богом властью вернуть беглеца домой. При этом шли горячие обсуждения в отношении будущего наказания, безусловно заслуженного и даже необходимого, как средства душеспасительного и вразумительного. Разнообразием поступающие предложения не отличались. Обсуждение так или иначе вертелось вокруг гороха, соли, розог и поклонов. И, как совсем уже крайние средства, предлагались полено и вожжи. Идея с вожжами принадлежала Пафнутию Осиповичу. А дедушка, проявивший себя с наиболее радикальной стороны, рекомендовал обратиться к средствам испытанным и работающим раз и навсегда, то есть к соли и полену.

– Эдак-то разик отходить его, сукина сына, по спине, – волновался дедушка и сжимал сухонькие кулачки, – так в другой раз не потянет в колывань эту вя-зывать.

Матрёна же Агафагеловна настаивала на более мягком наказании: всего-то розги и поклоны, счёт которых, правда, шёл на сотни. Но наказание беглого Макарушки напоминало делёж шкуры неубитого медведя, что, в конечном счёте, поняли и сами истязатели. Посему, так и не придя к единому мнению в отношении воспитательных средств, решили для начала всё же осуществить поимку непокорного, после чего уже вновь вернуться к обсуждению способов возмездия и внушения.

Поиски были недолгими. Первым же делом Пафнутий Осипович направился к Сергиевской церкви и там, столкнувшись с обретающейся на паперти нищей братией, незамедлительно выяснил, что Макарушку приютил у себя Герасим. Да, да, тот самый – староста церкви, что живёт на Малой Андроньевской улице возле непрсыхающей лужи.

Пафнутий Осипович пошёл к Малой Андроньевской, радуясь про себя скорому завершению поисков и лёгкому морозцу, прихватившему и наверняка вразумившему эту, никогда не бывшую мощёной улицу. В самом деле, весной и осенью Андроньевская улица была как пьяная. Под ногами прохожего то чавкало, то хлопало. Местами мостовая вдруг цеплялась за ноги и не отпускала, затягивая

в какие-то пугающие топи. И прохожему требовалось немало усилий, чтобы сделать шаг и не оставить в недрах мостовой сапоги. Гордостью и достопримечательностью Малой Андроньевской улицы была та самая непросыхающая лужа, отвечавшая, скорее, определению «пруд», но располагавшаяся прямо посреди проезжей части, превращая тем самым проезжую часть в непроезжую. В пруду этом ловили мальчишки каких-то замысловатых тварей, а кто-то утверждал даже, что промыслял рыбу. Впрочем, этой рыбы никто никогда не видел.

Мороз не сковал ещё воду, и лёд не стал на Андроньевском «пруду». Однако грязь несколько подсохла, и улица сделалась вполне пригодной для безопасного хождения.

Пафнутий Осипович довольно сносно добрался до домика Герасима, ни разу не увязнув и не выскочив по пути из сапог. Герасим был дома и, встретив гостя, провёл его в единственную свою комнату, разгороженную захватанными занавесками на несколько закутков.

Войдя, Пафнутий Осипович прокашлялся, осмотрелся, но признаков присутствия в доме Макарушки не обнаружил. И тогда только спросил:

– Ты, сказывают, сына моего укрываешь?.. Так, что ли?..

– На что мне твой сын? – пожал плечами Герасим.

– Ну уж это твоё дело – «на что». Я и знать не хочу, на что тебе мой сын. Я хочу только знать, где он теперь...

– Не здесь, как видишь... – отвечал жадный на слова Герасим.

– А ну как я с квартальным приду? – как можно строже спросил Трындин.

– Приходи хоть с полицеймейстером – ответ один будет.

Пафнутий Осипович растерялся и задумался. Отчего-то поимка Макарушки представлялась ему делом уже решённым. И стоит только ступить на Малую Андроньевскую улицу, как всё остальное случится само собой: Макарушка падёт отцу в ноги, и останется только отволочь его домой для взыскания. Но вот Макарушки не оказалось, волочь некого, а что делать дальше – неизвестно. В конце концов, Макарушке пятнадцатый год, и он волен идти, куда ему заблагорассудится. И никакой квартальный, а уж тем более полицеймейстер, не пойдёт по дворам разыскивать эдакого дылду, чтобы воротить его мамке. Пафнутию Осиповичу стало тоскливо. Он опустил глаза и, переминая в руках шапку, спросил:

– Скажи по крайности, где искать его...

– А чего его искать-то? – заметил Герасим. – Он, я чай, не иголка и не младенец – живёт, где хочет. Отступишь, глядишь, он и сам вернётся...

Пафнутий Осипович помолчал, посмотрел на Герасима и ушёл не прощаясь. Герасиму стало его жаль, и он подумал, не вернуть ли ему гостя. Он даже представил, как выводит к Трындину Макарушку, завидевшего отца на улице и перебежавшего в сарай. Как отец с сыном обнимаются, Трындин благодарит его, Герасима, и все вместе они садятся пить чай. Но потом Герасим вспомнил, что Макарушка *соединился*, почему возвращаться ему нельзя – домашние либо совлекут его в раскол, либо не дадут житья. В последнем же случае уйти всё равно придётся, но претерпев перед тем побои, поношения и травлю.

Пока же Герасим рассуждал таким образом, Пафнутия Осиповича, не успевшего ещё покинуть пределы Малой Андроньевской улицы, ждало приключение. Едва отошёл он от дома Герасима, как перед ним возникло существо огромное, взлохмаченное и нетрезвое.

– Стой!.. – взревело существо и раскинуло руки. – Ты кто таков есть?.. А-а!.. Знаю! Ты к Гераське ходил за мальчишкой... Врё-о-шь! Гераська тебе мальчишку не отдаст. Он его в новую веру сманил и в митрополиты хочет вывести... А ты – отступись!.. Отступись...

Пафнутий Осипович вздрогнул: не далее как пять минут назад то же слово слышал он от Герасима. Но самое страшное было про новую веру. Что если и правда Макарушка перешёл к никонианам?.. Тогда и впрямь лучше отступиться. Пусть его! Пусть, отступник лукавый, живёт как может, коли живётся.

Ревевшее на него медведем существо Трындин знал. Это был безобидный, хотя и шумный обитатель Малой Андроньевской по фамилии Баулов, живший сдачей в наём комнат в собственном доме и неизменно пропивавший невысокий свой доход. И конечно, он знал наверняка, что Макарушка у Герасима. Но расспрашивать Баулова Пафнутий Осипович не стал. Ни слова не говоря, он попытался обойти громоздкую фигуру, перегородившую и без того едва проходимую улицу. Но ступил одной ногой в пресловутую лужу, сразу же зачерпнул воды, угодил в топь и чуть было не оставил сапог.

– Жертвоприношение! – взревел Баулов, глядя, как Пафнутий Осипович с трудом тащит из лужи сапог. – Оставь обувище, пересекающий улицу сию!

И приблизив красное своё лицо к лицу Трындина, обдавая при этом Пафнутия Осиповича винными парами, прохрипел совершеннейшую бессмыслицу:

– Ни скривища, ни сбывища, ни одежища, ни обувища...

Пафнутий Осипович, испугавшийся и топи, и винных паров, и бессмыслицы, выдернул наконец ногу и почти бегом бросился прочь. А вслед ему понёсся громоподобный рёв:

– Жертвоприношение!..

\* \* \*

Баулов не соврал: за день до появления Пафнутия Осиповича на Малой Андроньевской улице Макарушка и в самом деле причастился тела и крови Христовых в Сергиевской церкви. Герасим, впрочем, отметил, что свершившееся оставило Макарушку равнодушным – ни радости, ни сожаления он не выразил. Но Герасим не счёл нужным обращать на это внимания и сам радовался спасённой, как ему казалось, душе. Вот почему передача Макарушки сродственникам представлялась Герасиму невозможной. Ведь в этом случае только что спасённая душа могла бы вновь оказаться на краю гибели.

И Макарушка остался у Герасима. До Трындиных в конце концов достоверно дошло о Макарушкином отречении, и семейство разделилось, предлагая Макарушку проклясть, оплакать, а не то и справить тризну.

Что до самого Макарушки, то хоть он и не обнаружил радости по поводу перехода в «истинную Церковь», зато явил необычайную приязнь и рвение к церковной службе. Первым приходил он к литургии. Если, бывало, Герасим мешкал, отправлялся один в Сергиевскую церковь. Вскоре уже не осталось и тропаря, незнаемого Макарушкой.

– Чудной, право, мальчишка, – бормотал Герасим, наблюдая за Макарушкой и раздумывая над этой странной судьбой.

– А скажи мне, пожалуйста, – спросил Герасима протоиерей, разоблачавшийся в алтаре, – что ты намерен с ним делать?..

Один из пределов церкви по сей день посвящён Николаю Чудотворцу, вот почему на Николу Зимнего шла праздничная служба и народ стекался со всей округи. Явился, само собой, и Макарушка – босой и бескафтаный, по своему обыкновению. Встал на клирос и таково пел, что умилил протопопа. А умилившись, батюшка, пожалуй, впервые взглянул на Макарушку не как на существо, которое только и надобно, что пристроить к дому и не забывать накормить. И вот тут-то батюшке и вошла мысль, что неплохо бы подумать о дальнейшей судьбе Макарушки. После службы, когда Макарушки не было рядом, он и обратился к Герасиму с вопросом о том, что тот намерен делать со своим жильцом.

– Да что с ним и делать-то?.. – нахмурился Герасим. – Станный ведь он. Всё одно, что не в себе... То смотрит, будто не видит. А то так взглянет, что страшно делается... А то ещё бабки...

– Какие это бабки? – не понял протопоп.

– Бабки... Мальчишки играют... Наиграет бабок, а после их же и продаёт... Денег принесёт, на стол высыплет... На, говорит, сгодятся. Ты не сгоришь... А чего «не сгоришь»?.. Я говорю: оденься, холодно. Нет, говорит, ни к чему это – спадает...

– Спадает... Как же так – спадает?

– Да вот то-то и оно...

– Спадает... Ну вот... тем более!.. Не век же ему в бабки играть да босым ходить, – оживился батюшка.

– Так-то оно так... Только как же?..

– Вот и вопрос: как же?.. А хорош был бы инок... А? Верно?.. Эти его волосы... да по плечам... да с синим блеском!.. – мечтательно проговорил батюшка, разглядывая морозные росписи на окнах. – Хоть сейчас страстотерпца пиши! Как мыслишь?..

– Это что же?.. По монашеству?.. А что? В его-то положении – чего лучше!

– Вот и я о том: в его положении лучше и не придумать, – вздохнул отчего-то батюшка, прикладывая ладонь к оледенелому стеклу.

Герасим пообещал потолковать с Макарушкой, и на том попечительские чаяния отца настоятеля иссякли. Однако потолковать не пришлось, потому что случилось нечто, совершенно не предвиденное никем, и в жизни Макарушки открылась новая страница.

\*\*\*

Год подходил к концу, и надлежало на другой день возвестить Новолетие, как вдруг разнеслась по Москве страшная новость: умер Семён Лукич. Кто принёс эту весть в Сергиевскую церковь, уже неизвестно. Просто залетело в храм с морозной струёй и пошло гулять по устам:

– Семён Лукич... Семён Лукич... Умер Семён Лукич!..

– Почил, значит, – задумался настоятель и размашисто осенил себя крестным знаменем. – Упокой, Господи, душу усопшаго раба Твоего Симеона...

– Слышал?.. Про Семёна-то Лукича... – крестясь в темноте, спросил из своего угла засыпавшего под тулупом Макарушку.

– Слышал, – отозвался в полудрёме Макарушка. – А кто он?

– Да ты что?.. – зашевелился Герасим. – Ты что же это, про Семёна Лукича не знаешь?..

– Не слышал! – признался Макарушка.

– Ну это ты... брат... того! – удивился Герасим. – Как же не слышать про Семёна Лукича, когда это святой, смиренным отличившийся, лежавший Христа ради!..

Длинная фраза, произнесённая удивившимся и расчувствовавшимся Герасимом, совершенно его утомила, и он снова приклонил голову, засыпая и бормоча что-то невнятное о смирении. Макарушка же, напротив, пробудился и пребывал некоторое время в раздумьях относительно того, что могли бы значить слова о лежании Христа ради.

Между тем Семёна Лукича действительно вся столица чтит за смиренность и лежание. Смирение же оно наблюдалось не то в небрежении отхожим местом и вообще какой бы то ни было чистотой, не то в чём-то скрытом от всеобщих глаз и доступном пониманию весьма немногих. Почему-то кое-кто решил, что пребывание тела в собственных нечистотах возвеличивает душу, и Семён Лукич прослыл святым не просто на весь околоток, но и на всю столицу, где по сей день в чести всё необычное, особенное, проделываемое Христа ради.

К Семёну Лукичу являлись и посетители, главным образом – женского полу, причём независимо от сословия и благосостояния. Являвшиеся донимали Семёна Лукича вопросами, преимущественно бытового характера: за кого идти замуж, будет ли счастье и куда подевалась кошка. Но то ли посетительницы слишком надоедали Семёну Лукичу, то ли сам Семён Лукич не вполне понимал, чего от него хотят, и вообще слабо ориентировался в бытовых вопросах, но только ответы его поражали порой чрезмерной краткостью и отсутствием, на первый взгляд, всякого смысла.

Спросят его, например, о пропаже. А он только вылупит глаза и рыкнет:

– Вши!

Вопрошавшая сначала недоумевает, потом начинает кумекать и, наконец, постигает: на вшивом рынке надо было искать, туда унесли.

Или спросят, идти ли замуж. А Семён Лукич возьми да и прорычи:

– Доски!

Какие такие доски? А тут жених и помре. Так вот они, досточки, домовину составившие!

Кто-то говорил, что Семён Лукич неумён, а кто-то – что попросту хитёр. Но большинство сходилось во мнении, что был он свят и пророчествовал.

Дни свои окончил Семён Лукич в Замоскворечье, во флигеле купеческого дома, находясь последние годы на попечении купцов Толоконниковых. Проводить его явилась едва ли не вся Москва. Семёна Лукича отпели, а гроб на руках из-за Москвы-реки понесли в Ваганьково.

Когда траурная процессия только ещё намеревалась тронуться, у гроба случился Макарушка. Подставить плечо своё под последнее пристанище Семёна Лукича нашлось бы немало желающих. Повезло, понятно, немногим. В числе же прочих гробоносцев оказался и Герасим, бывший в родстве с одним из священников той самой церкви, где отпевали Семёна Лукича. С Герасимом явился и Макарушка, как всегда босой, бестулупный, но его сперва оттеснили, и Герасим потерял Макарушку из виду. Когда же гроб с телом Семёна Лукича уже подняли на плечи, и толпа, запрудившая замоскворецкие переулки, вдруг замерла, чтобы в следующую секунду сняться с места, перед процессией возник Макарушка.

Москва со смертью Семёна Лукича словно и сама оделась в саван – зима не жалела снега, а мороз инея, оплетая им ветки деревьев, собачьи морды, купече-



ские бороды и даже доски заборов. Белый ледяной узор покрывал стёкла, белый пар поднимался над толпой, застилая всё вокруг белой дымкой. Даже солнце, равнодушно повисшее в этот день над Москвой, завернулось в какой-то белёсый платок. И в этом молочном мареве тёмным отчётливым контуром обрисовалась вдруг фигура Макарушки. Он подошёл к Герасиму, но встал не рядом с ним, а перед гробом, как бы возглавляя процессию. Обернувшись к толпе, он чёрными, не то невидящими вовсе, не то всевидящими глазами обвёл гробоносцев и остановил взгляд на крышке гроба.

Тёмная босоногая фигура с возведёнными горе очами произвела странное впечатление.

– Ишь, ты! – сказал сосед Герасима, державший гроб слева от него. – Глазастый малый!.. А босой-то – никак блажит!..

Тем временем Макарушка, от долгого стояния переставший понимать, что у него под ногами – лёд или раскалённая сковорода, начал было переминаясь, словно бы слегка приплясывая. На это другой сосед Герасима, стоявший сзади, громогласно и даже, как могло показаться, весело, проговорил басом:

– Ну, отпели Семёна Лукича, сейчас и отпляшем!

Эти слова многим показались забавными, и по толпе пробежало оживление. Но главное – на лице Макарушки впервые, наверное, за прожитые им почти шестнадцать лет появилось подобие улыбки. Никто никогда не видел Макарушку смеющимся, оттого и жутко стало Герасиму, заметившему, как губы Макарушки расплзлись, соединив оба уха красной лентой. И Макарушка с необъяснимым удовольствием проговорил, как будто вдруг поняв что-то очень важное для себя:

– Отпляшем...

И повторил:

– В Царствие Небесное отпляшем...

В это самое время процессия тронулась с места, и Макарушка, вынужденный дать дорогу, не посторонился. Но вскидывая нелепо то ноги, то руки, затрясая всем телом и, прискакивая, двинулся вперёд. И так, возглавляя шествие, доплясал до самого Ваганькова. Видевшие эту дикую пляску, восприняли её как нечто само собой разумеющееся. Как будто все знали, что на похоронах Семёна Лукича непременно должно произойти что-то подобное, и только ждали, когда же это произойдёт. При виде же скоморошских скачков Макарушки все поняли: это именно то, чего недоставало до сих пор.

– Ишь ты! – снова сказал левый сосед Герасима. – Никак Семён-то Лукич блажь ему свою завещал. Новый юрод...

– Равно как царь Давид, – пробасил сосед сзади. – И буду играти и плясати пред Господем: и откряюся еще такожде и буду непотребен пред очима твоима!..

– Вот то-то и оно, что непотребен... – пробормотал Герасим, припоминая Мелхолу и отчего-то смущаясь.

Герасиму, а, может, и не одному ему, показалось, что Макарушка радуется и даже смеётся библейским словам, точно приветствуя их и воодушевляясь ими. Но Герасим, как никто, знал, что Макарушка не может смеяться. И потому, видя улыбку Макарушки, Герасим убеждал себя, что ему это чудится. На пляску Макарушки он смотрел со смешанным чувством. О том, что тот блажит, Герасим, положим, всегда знал. Оттого и согласился с отцом настоятелем, что ничего лучше

монашества для Макарушки и представить себе невозможно. Однако вообразить, что Макарушка станет отплясывать самого Семёна Лукича в Царствие Небесное, да ещё босым в этакий-то мороз, Герасим не мог и в самых отвязных фантазиях.

Как его схватывает! Крутится, руками молотит, что твоя мельница... Кто разберёт эту пляску? Взлягнул, затрясся мелкой дрожью... И опять... опять... И за этим бесноватым вся Москва гроб несёт! Может ли быть что-то более нелепое, неправдоподобное, необъяснимое?..

А на кладбище Макарушка вдруг исчез. В одно мгновение потерял Герасим его из виду, и растворился Макарушка в белой морозной дымке.

Семёна Лукича схоронили. Обряд совершился сравнительно быстро, имея в виду, что на Ордынке, откуда принесли гроб, за один только день сослужили десятки панихид. А тело усопшего, или, попросту говоря, труп, почитатели Семёна Лукича едва не растащили на кусочки. Во всяком случае, к тому времени, когда закрыли гроб, Семён Лукич напоминал себя прежнего, поскольку последнее платье его, бывшее спервоначалу цельным, превратилось в лохмотья. И всё благодаря стараниям страждущих, не отходивших от гроба, не отщипнув себе хоть что-нибудь «от Семёна Лукича». Когда же страждущие покусались и на последнее жилище усопшего, принявшись отколупывать щепки, гроб, по настоянию духовенства, закрыли и понесли на кладбище. А там, дабы не пробуждать активность страждущих, как можно скорее опустили в ледяную землю, и мёрзлые комья с грохотом посыпались на крышку.

Толпа, прихлынувшая с Замоскворечья, затопила кладбище. И Макарушке не мудрено было затонуть в этой толпе. Найти же его в стылом хаосе оказалось не так-то просто. Но и к ужину напрасно ждал Макарушку Герасим. Впустую прождал его и на другой день. А спустя неделю явился к Трындиным, терзаемый подозрениями, что Пафнутий Осипович отловил блудного сына и заточил его по-древлепрепрославленному.

– Чего явился, поганец? – Пафнутий Осипович не стал разводить церемоний перед явившимся к нему на двор Герасимом. – Что, сына мало – за женой пришёл?

Герасим совсем сробел на чужом дворе, по которому с какой-то своей надобностью Пафнутий Осипович расхаживал с топором. Вид этого топора наводил на и без того перепуганного Герасима пущий ужас. Поскольку расправа, по его мнению, была бы хоть и нежелательна, но вполне заслуженна и справедлива.

– Дома ли... Макара-то Пафнутьевич? – выдал наконец из себя Герасим.

– Давай! – усмехнулся в ответ Пафнутий Осипович. – Рассказывай тут!.. Осрамил нас на всю Рогожскую... И пришёл ещё... Спрашивает... Издевается... Макарий-то Пафнутьевич в шуты, я слышал, подался?.. Пляшет вовсю... Народ веселит... Оно и в самый раз! Чо ж не поплясать?.. А всё ты!.. Ты всё...

Тут Пафнутий Осипович остановился и, дырявя Герасима взглядом, переложил топор из одной руки в другую. Герасиму захотелось убежать. Но он только сглотнул слюну и спросил:

– Так не у тебя, что ли?

– У меня-а? – протянул Пафнутий Осипович, поправляя свободной рукой съехавшую на глаза шапку. – У меня ему делать нечего. Приползи через всю Москву на коленях – не пущу. Этот ломоть я отрезал... Постой-ка... Это что же?.. Это он, стало быть, и от тебя сбёг?..

И Пафнутий Осипович расхохотался злым, жёлчным смехом. Герасим, сразу сообразив, что смех относится именно к нему, и что Макарушки в отчем доме быть не может, молча поспешил со двора. А развеселившийся Пафнутий Осипович кричал вслед ему:

– Ступай!.. Ступай в синагогу ищи! Он небось уж там поёт!.. Ему веру-то сменить, что шапку...

Но Герасим не пошёл в синагогу. Решив во всём положиться на волю Божию он отправился домой, поминутно уговаривая себя, что лучшее – это ждать. Потому что рано или поздно весть о Макарушке дойдёт до его ушей. И он не ошибся.

\* \* \*

Весть о Макарушке прилетела уже весной. Великим постом видели его на грибном рынке. Из одежды на нём была только длинная чёрная рубаша, синие волосы его отросли до плеч, по лицу гуляла улыбка, а на шее болталась киста, куда купцы и торговцы с удовольствием опускали монеты.

– За что ж это его одаривают? – подивился Герасим.

Но мужичок, принесший весть о Макарушке, истолковал всё предельно просто:

– Так... знамо дело: юроду как не подать?.. Опять же слава о нём по рынкам: у кого калача или там гриба отведаст – считай, заладилась торговля. Гурьбой за ним ходят: Макарушка, загляни... Макарушка, откушай... Базарный святой!

Герасим лишь покачал головой в ответ, словно не очень-то доверяя рассказам знакомого мужика. Вскоре, однако, он услышал, что Макарушку видели и на других рынках. И снова: синие волосы, блуждающая улыбка, киста на шее... Прибавляли ещё, что он по-прежнему бос и верхней одежды не признаёт.

Потом, ближе к лету, донеслось, что Макарушка пророчествует. Он, впрочем, пророчествовал и раньше, поедая грибы с калачами и предрешая тем самым исход торгового дня. Но тут пророчество обрело слово.

Герасим недоумевал. Но совершенно доподлинно было известно, что Макарушка предсказал скорую женитьбу молодого Нехотьянова. И когда торговец и в самом деле женился, Макарушка ещё приобрёл в общественном мнении. Являясь теперь на рынок, Макарушка тотчас оказывался в центре внимания. Из-за каждого прилавка были устремлены на него беспокойные глаза. Весь рынок, казалось, взывал к нему:

– Прореки!..

И Макарушка прорекал, подходя то к одному, то к другому купцу, похлопывая или, наоборот, поглаживая своего избранника.

– Ну что, брюхо... – говорил он одному.

– Эх ты, селёдочница!.. – вздыхал рядом с другим.

Торговцы замирали в пароксизме благоговения, после чего принимались потчевать Макарушку, пополняя как утробу его, так и кису. При этом, что бы ни происходило в дальнейшем с «брюхом» или «селёдочницей», всё относилось на счёт макарушкиных предсказаний. Шла ли торговля бойчее или, напротив, переживался спад – всё истолковывалось как проречённое, как провиденное Макарушкой. И за всё Макарушке были благодарны.

Но славился он не только пророчествами. Как только случался где пожар, который пусть даже скоро удавалось погасить, являлся, осклабясь блаженно, Макарушка и трясся в дикой своей, невиданной пляске рядом с языками пламени.

словно бы наравне с огнём хотел пожрать, уничтожить, раскрошить нажитое, сложенное, выстроенное. И поползли по Москве слухи и разговоры о том, что Макарушка погорельцев в Царство Небесное отплясывает. И следом за благодарностью Макарушка внушил многим что-то вроде священного ужаса.

Бывало, Макарушка являлся до пожара. А бывало и так, что Макарушка за-долго знал о пожаре и последующем затем разоре. О том и прорекал торговцам и мастерам, шатаясь босым по улицам и площадям. Таким и увидел Макарушку Герасим, когда, Бог ведает по каким делам, явился на Конную площадь у Серпуховской заставы. Было это в конце июня, а в то время уже не морозная, но придорожная пыль висит в воздухе, выбеливая небо и застилая дымкой солнце.

Раз мелькнула в толпе чёрная рубаха, распахнутая на груди, и чёрные в синеву волосы, доходившие почти до плеч. В другой раз увидел Герасим глаза, не то невидящие вовсе, не то видящие насквозь. И странное волнение охватило Герасима. Он так испугался чего-то, что почти забыл, зачем явился в это зыбкое, нечеловеческое место, пропитанное пылью, миазмами и несмолкаемым шумом. Он остановился и, вытянув шею из ворота чуйки, принялся высматривать не то иссиня-чёрные волосы, не то глаза с остановившимся взглядом, не то чёрную рубаху с разодранным воротом. Как вдруг всё это явилось само, и Герасим разглядел перед собой Макарушку. Тот широко улыбался и, очевидно, нарочно явился поприветствовать старого друга.

– Господи Иисусе... – всплеснул руками Герасим.

Полгода не видел он Макарушку, как вдруг тот является и лыбится, как ни в чём не бывало. Как будто всё это время Герасим не разыскивал его по всей Москве, не ходил самолично к Трындиным.

– Здорово, полосатенький! – проговорил Макарушка подсевшим голосом и дружески потрепал по плечу.

Герасим только ахнул, но тут же обрушился на Макарушку:

– Я вот тебе покажу полосатенького!.. Ты долго ли ерыжничать-то собрался? Ах ты, ерыжник ты, распроклятый!.. От отца с матерью ушёл, от меня ушёл – куда прикатишься, знаешь ли?..

Макарушка, по лицу которого нельзя было понять, слышал ли он, что говорит ему Герасим или нет, мог бы уйти прочь. Вместо этого он стоял перед Герасимом и с любовной почти улыбкой разглядывал вчерашнего своего благодетеля. Герасим между тем тоже успел рассмотреть Макарушку и отметил, что он подрос, возмужал и даже, как ни странно, похорошел. Очевидно, молодость и пока ещё не растраченное здоровье брали своё.

Тем временем вокруг шумевшего Герасима и улыбавшегося Макарушки, исподтишка разглядывавших друг друга, стала собираться толпа. Макарушку все знали, а потому ничего удивительного, что шум, поднявшийся рядом с ним, привлёк столько внимания.

– Ты пошто ругаешься, дядя? – спросил у Герасима чей-то звонкий и молодой голос из толпы.

– Не тебя, чай, ругаю-то. Вот и ступай себе... – входил в раж Герасим. – Ишь вон, что с парнем сделали... Тьфу на вас с развратом вашим!..

– Разврат, дядя, на Грачёвке, – отозвался другой голос постарше первого и гораздо спокойнее. – А нам тут не до разврату. Да и он не девица, чтобы его портить...

– А это кому как! – послышалось в толпе. – Мне, к примеру, всегда дело найдётся...

– Как там чего, а убогого обижать не дадим, – донеслось до Герасима сквозь смешки. – Ты, дядя, сам-то кто таков будешь?.. Тебя тут никто не знает, вот и ступай подобру-поздорову...

– Эва! Хватили! – воскликнул Герасим, всё время пытавшийся разглядеть тех, кто к нему обращался, и оттого беспрестанно крутившийся. – Нашли убогого!.. Блажной Макарка с Рогожки, староверов сын у них за пророка! Эх вы-и... А ты чего ж молчишь? – набросился Герасим на Макарушку. – Порасскажи им, как ты от отца с матерью сбёг, да как от меня потом... Чего назад не воротишься, пророче чудный?..

– А зачем туда возвращаться?.. – подал голос Макарушка. – Зачем туда возвращаться, коли там через месяц ничего не будет?..

Так спокойно и серьёзно были сказаны эти слова, что Герасим снова испугался чего-то, как будто не Макарушкин голос он слышал только что, а сама судьба вдруг заговорила с ним.

И не только на Герасима так подействовал голос Макарушки. Толпа на мгновение тоже притихла, но тут же вновь заголосила, и среди поднявшегося шума Герасим разобрал слова:

– ...Убогий всегда первый... Не возьмёт убогий товару – не бывать торговле...

Потом собравшийся люд зашевелился, потеряв интерес к Герасиму и поняв, что ни драки, ни даже приличного скандала произвести он не сумеет, и стал мешаться, поминутно толкая Герасима то в бок, то в спину. Исчез и Макарушка, как будто и не было его, как будто не стоял он перед Герасимом, не улыбался и не говорил «полосатенький».

Герасим был из тех людей, о которых сложно сказать что-либо определённое. Ничего яркого или буйного не заключалось в этом характере. Неглупый, да в меру добрый – вот, пожалуй, и всё, что можно было бы сообщить о нём. Но, однако, как это давно замечено, и такие люди страдают и чувствуют. Чем был для него Макарушка, Герасим, пожалуй, и сам бы не сказал. Но успев привыкнуть к прибившемуся мальчишке, Герасим тосковал, когда Макарушка вдруг исчез. Теперь же на Конной площади среди людей, почитавших Макарушку убогим и готовых в драке доказывать, что он именно убогий, Герасим вдруг понял, что между ним, обыкновенным стариком, и этим мальчишкой с остановившимся взглядом навсегда пролегла пропасть. Что, со временем, эта пропасть может только шириться и углубляться. Что Макарушка, хоть и не убогий, конечно, но и, отнюдь, не обыкновенный. Что иудеи с самарянами не общаются. И что, наконец, самому Герасиму остаётся только вернуться к свечному ящику в одиночестве. Потому что судьба Макарушки – взлететь или пасть, а не суесться между свечным ящиком и лачугой на Малой Андроньевской улице, аккуратно напротив непросыхающей лужи.

Впрочем, Герасим не столько всё это понял, сколько почувствовал. И отягчённый новыми чувствами поплёлся домой.

\* \* \*

Но история на этом не закончилась. И встреча с Макарушкой на Конной площади имела свои последствия для Герасима.

Спустя немного времени после встречи Герасима с Макарушкой, одним довольно жарким июльским вечером над Рогожской потянуло дымком. Поначалу запах никого не удивил. Но когда над Тележной улицей показался столб дыма, а следом послышались визг и крики «горим», Рогожская засуетилась. Дни стояли сухие, жаркие, и уже в следующее мгновение над Тележной поднялось пламя и медленно двинулось по улице, дёргаясь при этом, точно приплясывая.

Странный город – Москва. Кое-кто утверждает даже, что Москва – это не совсем город. Скорее, росстань, перекрёсток. Только Москва то и дело горит, не выходит из бани и не выпускает из рук чайной чашки. Только Москва похожа на огромную деревню с садами и огородами, бесконечно чередующимися ярмарками и рынками. Только Москва, наконец, похожа на проходной двор, продуваемый всеми ветрами; двор с шальными тройками и голубятнями.

Вода – чужая в пустыне. И огонь – чужой на море. Но в Москве всё иначе. Здесь, то и дело встречаясь друг с другом, стихии чувствуют себя как дома.

Поднявшись над Тележной, пламя двинулось вдоль по улице. Огонь шёл приплясывая, поигрывая не то на какой-то неведомой дуде, не то на трещотке, отчего в воздухе гудело и потрескивало. И было видно, что ему весело эдак идти и что скоро он отсюда не уйдёт.

И точно. Несмотря на поднявшиеся крики и беготню, несмотря на бесполезно метавшихся туда-сюда пожарных, огонь уже не шёл, а, точно пьяный, нёсся по улице с воем. Вскоре пылала не только Тележная, но и Воронья, Рогожская и прочие близлежащие улицы.

Уцелевшие погорельцы вопили, и вопли их тонули в рёве перепуганных животных, выведенных с загоревшихся дворов. Падавшие брёвна трещали оглушительно. Все местные колодцы оказались охваченными огнём, а Яуза была так далека, что легче было бы заплывать пожар, чем тушить её водами. В лавках загорелось масло, и по мостовым потекли огненные реки. Раскалившийся воздух, казалось, готов был расколоться на куски. Чёрная органза из пепла и дыма затянула небо.

Несколько дней бесновался огонь, пока наконец не истощился, не отгулял своего.

Герасим вместе с пожарными и примчавшимися на помощь крестьянами из ближайшей к Рогожской слободе Новой деревни метался то по Тележной, то по Вороньей улицам. Если уж невозможно было затушить разыгравшийся огонь, то хотя бы спасти остатки скарба погорельцев и вывести их в безопасное место, подальше от пляшущего пламени. Когда пошёл уже второй день огненному разгулу, Герасим столкнулся на Тележной улице с Бауловым. Тот тащил огромные узлы, а рядом с ним трусил чумазая старушонка, очевидно, хозяйка узлов.

– Добрая душа, – бормотала старуха, как будто разговаривая сама с собой. – Бог тебя отблагодарит...

– Не твоего ли там подкидыша мужики казни хотят предать лютой? – прогудел Баулов, поприветствовав Герасима.

– Какого ещё подкидыша? – насторожился Герасим, как-то сразу почуяв, о ком идёт речь.

– Босоногого, – пояснил Баулов.

И, заметив испуг на лице Герасима, добавил:

– Беги... Не ровён час – растерзают...

Герасим, не дослушав, что говорил ему Баулов, не уточнив, куда именно следует

бежать, побежал наугад. Вскоре, однако, он остановился, заметив возле одной телеги, нагруженной тюками, венчал которые перевёрнутый медный таз, человек двадцать погорельцев, оборванных, чумазных мужиков со свирепыми лицами. Все они пытались одновременно говорить, размахивали руками и, казалось, не могли до чего-то договориться. Почти все были знакомы Герасиму. Вдруг один из них, по фамилии Свешников, с обгоревшей рыжей бородой заметил Герасима и злобно крикнул ему:

- Пожаловал?.. Ну иди, иди... Полюбуйся...
- Оставь его, – сказал кто-то. – Не его вина...
- Моя, может? – огрызнулся Свешников.
- И не твоя...

Герасим подошёл к телеге. Погорельцы замолчали, расступились, и Герасим увидел, что на земле перед ними лежит человек в разодранной в клочья чёрной рубахе, с распухшим, окровавленным лицом. Герасим не хотел верить своим глазам. Наклонившись зачем-то к лежавшему человеку, он вынужден был признать, что перед ним Макарушка.

– Его работа, – ехидно, как бы приглашая Герасима полюбоваться на дело рук своих, сказал Свешников. – Поджѐг и ну плясать. Отпляшу, говорит, вас в Царствие Небесное. А я, может, не просил меня отплясывать...

– Да тихо ты! – перебил Свешникова старик Банкетов, человек степенный, хорошо известный всей Рогожской, ещё пару дней назад хозяин одного из лучших тележных дворов. – Это верно: видели, как он поджигал. Несколько человек видели... Сразу не поймали, а когда загорелось – не до него было. Сегодня опять явился и пляшет...

– А я, может, не просил меня отплясывать, не заказывал... – опять вмешался Свешников, но на него все зацыкали, и он замолчал.

– ...Ну и схватили его ребята. Ты что же это, гад, говорят, делаешь?.. А народ, как прослышал, что он поджѐг-то, ну и, понятное дело... Сжечь даже его хотели...

– А Трындин-то что же? – пробормотал Герасим, не знавший, чему более ужасаться: рассказам или виду раздавленного лица Макарушки.

- От Трындина пепел один, – сказал кто-то.
- Пепел... – бессмысленно повторил Герасим.

– Говорят, как зашло у них, – пояснил Банкетов, – дедушка книгу, что ли, какую забыл... Деньги у него, может, в ней были – в книге-то?.. Ну и пошло... Дедушка за книгой, Матрёна Агафагеловна за дедушкой, Пафнутий Осипович за обоими... А тут и брёвна посыпались...

На этом месте Герасим вдруг вспомнил слова, сказанные Макарушкой на Конной площади.

– ...Так что, – продолжал Банкетов, – выходит он не просто как поджигатель, а самый что ни на есть отцеубивец...

Тут каждый из стоявших рядом поспешил сказать своё слово о Макарушке, но Герасим уже никого не слушал. Понимание природы Макарушкиных пророчеств паразитило его.

- Ты зачем же это? – прошептал он, касаясь плеча Макарушки. – Зачем?..

К удивлению Герасима, Макарушка приоткрыл глаза. Вернее, чуть приоткрылся только правый глаз. Левый заплыл совершенно.

– Скучно, дяденька, – невнятно, чуть слышно проговорил он, с трудом открывая разбитые губы. – Сила... сила во мне... в землю ушла... А хотел всю Москву... отплясать... в Царствие Небесное...

Макарушка замолчал и закрыл глаз. Более он уже не говорил. А на другой день Макарушка умер.

Никто не противился тому, чтобы Герасим забрал тело Макарушки, которого отпели в Сергиевской церкви и похоронили здесь же – в Рогожской слободе.

Прослышав, что почил Макарушка, Москва собралась проститься с ним. И похороны Макарушки оказались едва ли не столь же многолюдными, как и похороны Семёна Лукича. Явились и его истязатели. Плакали вместе со всеми, надёргали ниточек из савана, взяли песочка с могилки. А рыжий Свешников, объявив, что зубы болят, наклонился в церкви ко гробу и впился в него большими своими зубами. Макарушку поминали как целителя и человека Божия. Говорили ещё, что Макарушке можно молиться от пожаров, а также о Царствии Небесном. Потому-де и там ничего не стоит Макарушке отплясать человека. После похорон стали ходить молитвенники на могилку, где чудеса исцеления следовали одно за другим.

А Герасим пропал. Долго не было о нём слышно, пока, наконец, какой-то пришедший из Киева богомолец не рассказал, что повстречал Герасима, облачённого по-монашески, на берегах Днепра. Вид его был суров. И, по слухам, носил он на себе не то власяницу, не то вериги.

## ОЛЬГА МИТРИЕВНА

Откуда взялась на Москве Ольга Митриевна, решительно никто не знал. Дни свои Ольга Митриевна окончила в доме скорби, совершенно ослабев умом и потеряв всякую способность понимать что бы то ни было. Это обстоятельство, впрочем, ни в малейшей степени не сказалось на любви к ней московской публики. Даже и напротив – интерес к Ольге Митриевне возрос, публика пошла к ней валом, неся с собой деньги, сласти и прочие благопотребные предметы, а унося всякий сор, лишь бы только он имел касательство к Ольге Митриевне. Даже от срачицы Ольги Митриевны старались то отрезать кусочек, а то и просто выдернуть нитку, чтобы, повязав её вокруг запястья, обрести помощника в делах земных и покрепче привязать себя к угоднице Божией и молитвенной заступнице. Хотя, сказать откровенно, никто никогда не видел Ольгу Митриевну молящейся. Что, конечно же, объясняли нашим суетным неведением.

Причина могущей показаться странной любви к Ольге Митриевне таилась в том, что московская публика почитала Ольгу Митриевну юродивой, а к юродивым в Москве традиционно испытывают большую приязнь. В лучшие времена Ольга Митриевна и в самом деле юродствовала, прорекала и вообще чудила напрапалу. Но после одного престранного случая вдруг обмякла и заблажила взаправду. И вот тут-то даже те, кто сомневался в святости Ольги Митриевны, пока она чудила и прорекала, сомнения окончательно отбросил и явился в дом скорби поклониться угоднице, а заодно услышать вешнее слово.

Да, юродивых в Москве любили всегда, со времён, наверное, блаженного Василия. А может быть, даже ещё раньше. Того самого блаженного Василия, что ночевал бывало в башне у Варварских ворот и ходил, какова бы ни была погода, нагим, отчего



и прозывался нагоходцем. А кто не знает Ивана Яковлевича, долгие годы проведенного в Преображенском сумасшедшем доме, но в отличие от Ольги Митриевны сохранявшего при этом рассудок? Иван Яковлевич, юродствуя, пребывал в нечистоте, а все приносимые ему кушанья смешивал руками воедино, руками же потреблял, из рук же угощал некоторых своих посетителей, приходивших в восторг ото всего, что продельвал их кумир. Постов же Иван Яковлевич совсем не блюл, упирая, очевидно, на то, что ни к чему поститься сынам чертога брачного, когда с ними жених

Хвала Создателю, Ольга Митриевна не ходила нагой и даже не смешивала руками кушанья. Слава её и без того ширилась и разошлась по Москве в какие-нибудь несколько месяцев. Когда же Ольга Митриевна угодила в жёлтый дом, о чём многие тогда почему-то сказали «сподобилась», стали вспоминать и доискиваться, кто же первым встретил и распознал Ольгу Митриевну. И выяснилось, что, как ни крути, но первым-то был Васька Нехотьянов, который как-то под вечер на Зацепе наткнулся на никому тогда неизвестную Ольгу Митриевну, продвигавшуюся к Москве со стороны Серпуховской заставы. На Зацепе, как он потом рассказывал, уже в сумерках подошла к нему какая-то нищенка с клюкой. Странность была в том, что вокруг них никого на ту пору не оказалось. Васька полез в карман и, выудив тринку, хотел уже оделить несчастную, но вдруг понял, что перед ним непростая нищенка. Вместо поклонов и завываний, она уставилась на Ваську и быстро-быстро забормотала какие-то бессвязные слова, вроде:

– ...оковы, запоры, подковы, заборы...

Васька не на шутку испугался странной нищенки и со словами «очумела ты, карга?» оттолкнул её от себя. И хоть потом Нехотьянов утверждал, что толкнул Ольгу Митриевну совсем легонько, однако, она кувыркнулась в ближайшую лужу, а непересыхающими лужами, как известно, Москва необыкновенно богата, и оттуда снова забормотала:

– ...оковы, запоры, подковы, заборы...

За ту минуту, что Васька раздумывал, вытаскивать ли ему нищенку из лужи, успевшей всосать несчастную в свои топи, грязь чавкнула, и Ольга Митриевна, изрядно извозившись и, конечно, умалившись, вылезла сама и двинулась дальше. Нехотьянов недолго недоумевал. Недоумение его разрешилось спустя, наверное, час, когда он подрался в каком-то кабаке близ Конной площади, и был препровождён в часть. Вот тут-то и дали себя знать оковы, запоры и заборы. Только подковы остались неразъяснёнными. Но потом, уже спустя время, когда Нехотьянов припомнил первую встречу с Ольгой Митриевной, припомнил и загадку с подковами, кто-то сказал ему:

– А Конная-то площадь?!..

И всё встало на свои места. Ну а к тому же, раз из части по задержанию вышел он вскоре, то вот оно и везение. Что, собственно, и означали подковы.

Но это было потом, а поначалу Нехотьянов вскоре забыл о странной нищенке. Вспомнил же, когда слава Ольги Митриевны, как полуденное солнце, стояла в зените и светила без разбора всем – и добрым, и злым.

Впрочем, Нехотьянов Васька был далеко не одинок, и первое время явившаяся в Москву Ольга Митриевна прозябала по Замоскворечью, незамеченная ни честным купечеством, ни мастеровым людом, ни уж тем более публикой знатной. Вступив в московскую золотую роту, Ольга Митриевна затерялась в ней и на первых порах ничем не обращала на себя внимания. А Москва, как известно,

ласкает лишь тех, кто имеет своё особенное и умеет о том громко заявить. Но поскольку святость и прозорливость просто так в кармане не утаишь, то и Ольга Митриевна в скором времени обратила на себя московское внимание. Случилось же это на Болотной площади, где, в частности, обреталась Ольга Митриевна близ лавок и возов с ягодами и фруктами.

Внешне Ольга Митриевна была неприметной – ростом невеличка, с лица блёкла, правда, телом – дебела и крупитчата. Волосы имела длинные и бесцветные, в беспорядке рассыпанные по плечам. Летами казалась шагнувшей на пятый десяток. Одевалась Ольга Митриевна в тёмную полинялую срачицу, поверх которой носила такой же тёмный и полинялый зипун, препоясанный на полной талии мочалом. На голове Ольги Митриевны сидела лиловая скуфья, а в руках – толстая палка, которую сама Ольга Митриевна величала «палицей иерусалимстей».

Первое время московского жития своего Ольга Митриевна только прохаживалась взад-вперёд по Балчугу, наведывалась и на Болотную площадь. Видели Ольгу Митриевну и на Старой площади, и в рядах на Красной. А кто-то посмел даже утверждать, что раз заметил лиловую скуфейку в «Бубновской дыре», что в Гостиных рядах. Только уж это точно колокол льют, верить нельзя, потому что в кабаке этом такой смрад и дым, что и в двух шагах ничего не видно, а рассмотреть где-то там лиловую скуфью нельзя и подавно. Достоверно же известно, что как-то летом в самой гуще торга на Болотной площади начался переполох. Какая-то нищенка, не то поскользнувшись, не то так, повалилась в одну из луж и, перекатываясь с бока на бок, довольно игриво завизжала. На такое зрелище сбежалась толпа, охочая до разных чудес и чудачеств. И не убоившись брызг, разлетавшихся из-под крутых боков Ольги Митриевны – а это была она, – любопытные окружили лужу и вперили глаза в выходящую из себя чудачку. Хотели было помочь ей подняться, но она не давалась и только громче взвизгивала. Послышались, конечно, смешки и разные шуточки. Кто-то спросил:

– Чего это она?..

И в ответ услышал с другого берега лужи:

– Известно, чего – блажит.

Как вдруг визги стали перемежаться членораздельными выкриками, и собравшиеся, как-то сразу испуганно притихнув, разобрали слова:

– Тело зудит... душа ноет... земля каяться зовёт – гудит и стонет...

И ещё:

– Ни ох, ни ах – всё одно во прах...

Никто, похоже, не ожидал, что дело примет такой оборот. И несмотря на то, что весь остальной рынок продолжал гудеть, вокруг лужи сохранялась тишина.

– Истинно говорит, – тихо вздохнул кто-то в толпе. И сразу несколько рук поднялись для крестного знамения.

– ...Всё одно во прах... – умильно повторил женский голос.

– Да чего уж, – слышалось в ответ, – прах еси и в прах возвратишься.

Опять несколько человек перекрестились. В то же время Ольга Митриевна, грязная, мокрая, поднялась на ноги, вскинула свою палку и со словами «прочь! Бойтесь палицы иерусалимстей!» проследовала в сторону Москворецкого моста, оставляя по себе мокрый тянущийся след. Толпа действительно расступилась в молчании, пропуская новоявленную блаженную, с которой грязь текла струйками, и вскоре разошлась, обсуждая диковинное явление.

И всё же впечатление, произведённое Ольгой Митриевой на завсегдагаев Болотной площади, оказалось неоднозначным. Кто-то признал Ольгу Митриевну сразу и уже умилился. Но были и такие – в основном, конечно, это мальчишки и приказчики – кто не разглядел в ней ничего, кроме забавы, щедро обычно доставаемой разного рода нищими за копеечку. Всем известно, что нет никого злее московских приказчиков и мальчишек. И если вид и само появление Ольги Митриевны смутили их ненадолго, то вскоре этот народец уже забавлялся и передразнивал блаженную. Поистине скорее чужая беда вочеловечится, нежели достучишься до приказчичьего сердца.

И всё равно на другой уже день на Болотной и Балчуге говорили об Ольге Митриевне как о пророчице. Потому что в ночь после грязеваления Ольги Митриевны на Болотной площади, почил Хрисанф Яковлевич Буйлов, владелец и сиделец одной из тамошних лавок, бывший к тому же свидетелем явления Ольги Митриевны, разыгравшемся прямо напротив его лавки. По слухам, это именно он, тронутый пророческой силой, изрёк тогда:

– Истинно говорит, – якобы отнеся гул и вой земельный на свой личный счёт.

– Почувствовал, – шёпотом объясняли произошедшее с Хрисанфом Яковлевичем, – почувствовал родимый, что его черёд пред Богом стоять...

Так что когда, спустя несколько дней, лиловая скуфейка опять мелькнула на Болотной среди фруктовых возов и лавок, её появление было замечено куда как большим числом торговцев. При этом кто-то даже отметил, что ни одежда Ольги Митриевны, ни вообще весь облик её ничем не выдавали недавнего барахтанья в луже. И даже лиловая скуфья сохраняла цвет и следов грязи на себе не носила. Эту загадку поспешили, конечно же, отнести к разряду чудесного.

Но если в прошлый раз миг погружения Ольги Митриевны в грязевые топи был оставлен публикой без внимания, в виду совершеннейшей неожиданности произошедшего, то теперь за Ольгой Митриевой следили десятки глаз с самого её появления на площади. Все видели, как прошла она между возами, как ощупала «палицей иерусалимстей» два или три топких места. Как, наконец, вернувшись к тому, где водицы было поболее, она решительно двинулась на середину водоёма. И как только жижка достигла ей колена, она неловко плюхнулась на спину и, обдав тех, кто случился рядом, чёрными брызгами, похожими на разлетающихся мух, взвизгнула и принялась барахтаться. Так что можно было подумать, что она тонет в этом чёрном и зловонном водоёме. Но сбежавшийся и окруживший Ольгу Митриевну люд был уже прекрасно осведомлён, что никто не тонет и даже, скорее, наоборот. Смешков тоже было значительно меньше. Хихикнул кто-то непосвящённый да ещё какой-нибудь глупый мальчишка, но получили тычок, другой и примолкли. Даже злые приказчики только кривились, но откровенно гоготать уже не смели, потому что народ вокруг был настроен решительно и благоговеино.

– Как убивается, матушка! – раздался женский голос. И опять поднялись руки для крестного знамения.

А тут ещё Ольге Митриевне вздумалось плескаться, что отчего-то подогрело благоговеинный настрой.

– Грязь-матушка... грязь спасительная... Грехи прикроет, добела отмоеет... – резвясь и кувыряясь посреди лужи и бия ручками по тёмному её содержимому. Брызги, разлетаясь, оседали на столпившемся народе, но никто не думал не то, что расходиться, но даже и отираться.

– ...Лучше в грязи купаться, чем в грехах как свинья валяться... – продолжала

Ольга Митриевна свою спасительную проповедь. – ...Грязью умойся, греха убойся...

И, судя по лицам, большинство собравшихся были совершенно согласны с Ольгой Митриевной и даже благодарны, что вот, пришла юродивая и разбудила дремавшие души.

Когда же Ольга Митриевна поднялась с помощью «палицы иерусалимстей», народ почтительно расступился. А Ольга Митриевна, выходя из вод, точно дядька Черномор, снова направилась к Москворецкому мосту, и снова стекали с её подола струйки грязи. На ходу кто-то поймал и поцеловал её ручку, к чему Ольга Митриевна отнеслась не то, чтобы снисходительно, а даже как-то и с одобрением. Да и вообще весь вид её излучал какую-то внутреннюю уверенность, что почести и награды заждались, но не далёк тот час, когда эти приятные и заслуженные блага сами лягут к её ногам. На то и была Ольга Митриевна прозорливицей, чтобы знать наперёд. Ведь даже второе её купание – а именно так и стали говорить потом: «купания Ольги Митриевны» – так вот, даже второе её купание оказалось пророческим. В ту же ночь умерла старуха Заборова – прабабка одного из купцов с Балчуга, присутствовавшего при втором купании и решившего потом, что слова о покаянии относились именно к почившей. И что не зря он оказался на Болотной по какому-то пустышному делу именно в тот день, когда во второй раз там появилась и Ольга Митриевна. То есть Заборов почему-то был уверен, что Ольга Митриевна приходила на Болотную именно ради него и его прабабки. Хотя бы эта прабабка уже несколько лет не выходила из дому, проводя дни за колотьём и поеданием орехов, мало что соображая и никого не узнавая. Но уверенности Заборова способствовала и жена его, дама благочестивая, набожная и сверх всякой меры склонная видеть повсюду знамения и чудеса. Лишь только она услышала об Ольге Митриевне, то и немедленно всё поняла, и увязала в один узел. Казалось, ей можно рассказать о несвязанных между собой событиях, произошедших в разных концах земли, и намекнуть на существование между ними связи, как она тотчас эту связь обнаружит и растолкует. Поэтому в доме Заборовых царила атмосфера, во-первых, какого-то волнующего удивления по поводу единства и неразрывности мироздания, а во-вторых, постоянного ожидания чуда, что вечно вызывало смешки младшей дочери и насмешки жившего в доме учителя.

После того, как старуху Заборову похоронили, по Болотной и Балчугу пошёл слух, что правнук покойной купец Нифонт Диомидович Заборов «ту самую юродивую разыскал и у себя поселил». Вот тут-то впервые и возвестила молва, что зовут юродивую Ольгой Митриевной, что она блажит и прорекает. А когда стало известно, что торговка Божанова, которую Ольга Митриевна, плескавшись, окатила настоящим грязевым потоком, вдруг после этого самого окатывания исцелилась от никому неведомой каменной болезни, за Ольгой Митриевной установилась прочная слава целительницы.

\* \* \*

Нифонт Диомидович действительно отыскал Ольгу Митриевну. Благо, это оказалось нетрудно. На Болотной зорко отслеживали лиловую скуфью заборовские приказчики и мальчишки, а сам направился на Балчуг, где, кстати, и повстречал в тот же день Ольгу Митриевну – в лиловой скуфейке и с «палицей иерусалим-

стей». Завидев её, Нифонт Диомидович разволновался, чувства благодарности и благоговения охватили его. Само собой, благодарить ему Ольгу Митриевну было не за что. Но благодарить хотелось.

Ольга Митриевна говорила мало и то исключительно в рифму, чем, кстати, разжигала в Нифонте Диомидовиче благоговение почти нестерпимое. Правда, ему закралась было мысль о том, что молчание Ольги Митриевны связано с необходимостью говорить складно. Но Заборов эту мысль от себя отогнал как крамольную. Всё же обращаться к Ольге Митриевне пришлось ему трижды. Сначала она молчала и, казалось, вообще не слушала Нифонта Диомидовича. Но когда он в третий раз взмолился:

– Ольга Митриевна, голубица! Не отказывай!.. Поедем!.. Близёхонько тут.. Тебе уж и флигелёк готов. А не понравится флигелёк – переходи в комнатку... А комнатка не глянется...

Но Ольга Митриевна, оборвав своего просителя, нараспев проговорила:

– Готов флигелёк... не погас уголёк...

И ткнула себя в грудь «палицей иерусалимстей», желая, должно быть сказать, что этот самый уголёк не погас в её груди. После чего продолжала:

– Уголёк-то тлеет, а баран всё блеет...

– И жена, то есть супружница наша, Авдотья Харлампиевна, ждут-не дождутся...

– суетился Заборов, подсаживая Ольгу Митриевну в нарочно для этого присланный экипаж, и раздумывая, к кому бы могли относиться слова о баране, который всё блеет.

Собственно, это именно Авдотья Харлампиевна придумала поселить у себя Ольгу Митриевну. Как только она услышала о новоявленной блаженной с Болотной площади, так тотчас и принялась вынашивать мечту о том, чтобы заполучить её в свой дом. С юридическими Авдотья Харлампиевна зналась давно. Бывало, подавала копеечку, а, случалось что и на чай зазывала. А уж к Ивану Яковлевичу за каждым пустяком ездила. Но чтобы поселить кого-то из них у себя – об этом Авдотья Харлампиевна даже и не мечтала. Но услышав об Ольге Митриевне, она вдруг подумала: «А почему бы и нет?..» Вдобавок, рассказав о своей фантазии мужу, Авдотья Харлампиевна встретила полнейшее одобрение. И через несколько дней новая московская юридическая жила в её доме.

И всё же если Авдотья Харлампиевна упивалась уже одним только предвкушением того, что угодница Божия поселится у них в доме, освятив дом своим присутствием и распространив благодать на всех домочадцев, Нифонт Диомидович, при всём своём почтении к Ольге Митриевне, заглядывал вперёд.

Заборов прекрасно понимал, что Ольга Митриевна превратит его дом на Солодовке в Мекку и Медину, принеся в скором времени славу на всю первопрестольную, а за славой – и копейку. Поэтому он охотно согласился с супругой, назвал её «затейницей», распорядился обустроить пустовавший флигель особым образом, после чего сам лично отправился разыскивать Ольгу Митриевну. Домочадцы тем временем готовились достойно встретить новую жилищу, и едва только Ольга Митриевна ступила на заборовский двор, как сама Авдотья Харлампиевна вышла к ней с хлебом-солью.

При виде хлеба-соли Ольга Митриевна как будто задумалась. Но потом, не выдумав ничего интереснее, сняла с головы скуфью, опрокинула солонку себе на самое темя и водрузила скуфью на место. Все ахнули и переглянулись. А Ольга Митриевна, погрозив кому-то «палицей иерусалимстей», сказала:

– Флигелёк, флигелёк... он не низок, не высок... – точно намекая, что желала бы осмотреть обещанное жилище и отдохнуть с дороги. Ольгу Митриевну тотчас препроводили во флигель и показали ей новое пристанище. Пристанище оказалось недурным. Маленькое крылечко, малюсенькие сенцы и, наконец, комнатка: слева кровать с пышной периной, посередине круглый стол со стульями, стулья вдоль стен и, конечно, богачейший кивот. Перед кивотом горели лампы, а в комнате стоял густой запах ладана. Войдя, Ольга Митриевна огляделась, чихнула, после чего хозяйка со свитой повлекли её в дом обедать.

\* \* \*

Заборовский двор не отличался изяществом. Здесь не было ни цветущих розовых кустов, ни благоуханных липовых аллей с дорожками, посыпанными золотистым песком, поскрипывавшим под ногами хозяев и гостей. Весной на задах деревья стояли как будто осыпанные бело-розовым снегом, а осенью изнывали и гнулись от тяжести пёстрых плодов. Летом линейно зеленел огород, и перед домом зацветала старая, разросшаяся сирень, потому распускались пионы и ещё какие-то незамысловатые цветы. Пока было тепло, под сирень ставили стол для чаепития и плетёные стулья. По утрам в мае со стола смахивали белые звёздочки с жёлтыми узелками внутри. Потом сирень отцветала, и смахивать было нечего. Тогда просто набрасывали скатерть со спутанными с кистями и ставили самовар.

А ещё на дворе были сарай – дровяной и каретный, кухня, собачьи конуры, загончики для прочей живности и тот самый флигель, к которому от дома вела протоптанная дорожка. Флигель был своего рода окраиной: одно окно его – в сенцах – смотрело сквозь заросли на хозяйский дом, а второе подмигивало уже Овчинникам. В этом-то флигельке, в глухом углу заборовского сада и разместились Ольга Митриевна.

В городе Ольгу Митриевну больше не видели. Само собой прекратились и знаменитые «купания». Не появилась она больше на Балчуге, не потревожила стоячие воды Болота. Зато вся Москва постепенно узнала, что блаженная – матушка Ольга Митриевна – обретается ныне у Нифонта Заборова во флигеле, и мало-помалу начала торить туда тропу. Стали по Москве всё громче рассказывать, что одному Ольга Митриевна предсказала кончину, другому, наоборот, свадьбу. Там дунула, там плюнула, и глядишь: слепые прозревают, хромые ходят, глухие слышат, нищие благовествуют. Первым делом Ольга Митриевна взобралась на перину и оттуда начала принимать посетителей, приносивших ей кто денежку, кто угощение, а кто и подарки посерьёзнее. Как, например, одна дама, одарившая Ольгу Митриевну золотым кулоном на золотой же цепочке. Барыня приезжала просить Ольгу Митриевну об исцелении малолетнего сына. Ольга Митриевна, выслушав просьбу, бросила барыне яблоко, которое до того держала в руках, и сказала только:

– Скок-поскок... пятка-носок... Яблоко съели, псалмы запели...

Придя домой, барыня ещё долго раздумывала над словами Ольги Митриевны и в конце концов заключила, что «запеть псалмы» значит то же самое, что «читать Псалтирь», то есть – покойника. Потому что, как известно, Псалтирь читают по умершим. А стало быть, есть яблоко ни в коем случае нельзя или же надо приберечь его для того, по ком и Псалтирь прочесть не жалко. Яблоко она

спрятала в буфетные недра. Но сыну стало только хуже, лекарства не помогали, а врач объявил, что наступил кризис, который и прояснит: выживет мальчик или нет. Тогда барыня подумала, что у юродивых, возможно, всё следует понимать наоборот, достала яблоко и, разрезав его на дольки, скормила едва живому сыну. Мальчик яблоко съел и стал поправляться.

Период перинного лежания, сменивший период грязеваляния, знаменовался неусыпным уходом за Ольгой Митриевной заборовской прислуги. Во флигеле откуда Ольга Митриевна не выходила, умаяясь и смиряясь утопанием в пуху и перьях, постоянно почти находилась Настя – одна из девушек, прислуживавших в доме. Настя же собирала с посетителей по двугривенному за вход. А с тех, кто победнее – по гривеннику. Сама Ольга Митриевна в эти дела не входила.

Обеды и завтраки Ольге Митриевне приносили от хозяйского стола, а на столе во флигеле кипел самовар и посверкивали матовыми искрами сахарные головы.

Правда, теперь Ольга Митриевна умаялась в белой рубашечке. Срачица, мочало, зипун и знаменитая лиловая скуфейка покоились на стуле под кивотом, как бы напоминая, что всё в этом мире зыбко, и перинолежание в любой миг снова может смениться грязевалянием. Только с «палицей иерусалимстей» Ольга Митриевна не расставалась, держа её рядом с собой на постельке. Да ещё, разве, волосы не прибирала.

Настя следила за тем, чтобы посетители, приходившие в основном с просьбами и вопросами, не слишком донимали матушку. Вот почему пришедшие толпились у флигелька, ожидая, примет их Ольга Митриевна или придётся приходить в другой раз. Нифонт Диомидович между тем велел устроить специальную калитку со стороны Овчинников, и все, кто приходил не к хозяевам, а к матушке, шли в эту самую калитку, от которой до флигеля было рукой подать. А уж у флигеля встречали просителей нарочно устроенные скамейки, где и приходилось дожидаться, когда выйдет на крыльцо Настя и, не выпуская изо рта семечек, обведёт всех ленивым взглядом, выберет кого-то в случайном порядке и скажет:

– Вы заходите...

Или:

– Ты войди...

И каждый раз замирали сердца посетителей, толпившихся, как овцы без пастыря, и боявшихся услышать:

– Всё... устала матушка... Завтра... завтра придёте...

Потому что все уже знали, что раздобревшая на приношениях, обнаглевшая от власти над просителями Настя не смущалась ни убожеством, ни знатностью ожидавших.

А иногда среди ожидавших своей очереди к Ольге Митриевне можно было слышать такой неторопливый разговор:

– Вы впервой к матушке-то?

– Впервой...

– А я так уж третий раз прихожу. Без матушки теперь и шагу не сделаю. Обо всём её спрашиваю.

– Что же, помогла вам?

– Ох! Уж так помогла, так помогла, что и не выразишь...

– А что, к примеру, святыни-то у неё есть?

– Какие же это святыни?

– Да вот иные-то юридивые приносят из святых земель тьму египетскую в стеклянницах или жабу – тоже египетскую, что от казней-то осталась. А то ещё скелет младенца, Иродом убиенного... Ну или хоть косточку.

– Какие страсти!.. Нет, батюшка, скелетов нету. И жаб в сткляницах не видала. А вот с «палицей иерусалимстей» матушка не расстаеться.

– И то!..

Несколько счастливых и в самом деле обустроивались на скамейках, другие сидели, а то и лежали прямо на траве. Прикрываясь от солнца зонтиками – лето выдалось жарким – ходили туда-сюда по дорожке барыни в белых платьях. То и дело слышалась французская речь.

Заглядывали и духовные лица. Да вот хоть бы дьякон не то из церкви святого Георгия, не то из Екатерининской. В праздники бывал батюшка из Воскресенской церкви, служил молебны.

Но и период перинолежания подошёл к концу, и Ольга Митриевна ещё округлившаяся, порозовевшая, встала на ножки. И повод к тому оказался самый диковинный.

\* \* \*

Как-то утром Авдотья Харлампиевна зашла во флигелёк посоветоваться с матушкой: какого жениха для старшей дочери предпочесть – из своих, купеческих, или полковника, который хоть и стар, и нищ, а всё дворянского звания.

Настя зачем-то вышла, а ранние посетители ожидали покорно, когда матушка начнёт приём. И вот Авдотья Харлампиевна, пройдя мимо рассеявшихся на скамейках старух, миновала сенцы, вошла в комнату, перекрестилась на кивот и остолбенела. Ольга Митриевна в белой рубашечке, с распущенными по обыкновению волосиками не утопала в перине, а сидела, свесив с кровати ножки и шевеля пальцами ног, словно таракан усами.

– Матушка!.. – наконец опомнилась Авдотья Харлампиевна. – Да что же это ты?! Неужто не угодили? Или обидели? Куском обнесли?.. Да ты скажи, не таись только!..

И тут случилась вторая странность.

– Замуж собралась... приданым не обзавелась... – посетовала матушка.

Авдотья Харлампиевна только грузно, всем своим купеческим весом опустилась на стул, отчего стул крякнул.

– Замуж?! Да как же ты, матушка?.. Была голубица, и вдруг – на тебе! Мужатицей станешь?..

– Мужатица – каракатица, – отвечала Ольга Митриевна. – А голубица – вечная птица... с ней никто не сравнится, ничего не случится...

– Да это-то уж как есть... – забормотала Заборова, задумавшись, как часто случалось после высказываний Ольги Митриевны, о скрытом значении сказанного.

– Что же, и жених есть? – спросила она, всё ещё недоумевая.

– Невеста без жениха – что без лука шелуха, – усмехнулась Ольга Митриевна.

– Да где же он?.. Мы-то знаем? – воскликнула Авдотья Харлампиевна, в которой благоговение вступало в борьбу с любопытством.



– Мой мил друг всё ходит вокруг... – прорекла Ольга Митриевна.

– Да где?!. Где ходит-то?!. Кто таков?!. – Авдотья Харлампиевна даже привстала со стула.

Но Ольга Митриевна томила – усмехалась лукаво и ничего толком не говорила. Юродивым – известно – закон не писан. Люди особые, богоизбранные. Безумными представляются, стыд и приличия отрицают. У них, говорят, свой с Богом разговор. Вот ходить по улицам в чём мать родила, валяться в грязи и нечистотах, сквернословить по-ямщицки – это самые обычные юродивые дела. Можно даже сказать, блаженная повседневность. Но Ольга Митриевна ушла дальше. И когда Авдотья Харлампиевна потребовала у неё назвать имя жениха, Ольга Митриевна объявила:

– Чёртом кличут, бесом свищут.

Заборова опять опустила на стул.

– Что за страсти ты говоришь, матушка?! Вот уж Господь с тобой – какие слова страшные...

И она махнула рукой на Ольгу Митриевну, которая так и сидела, упершись руками в край кровати, шевеля пальцами ног и лукаво улыбаясь.

– Надо же такое удумать?! За чёрта замуж собралась... Да я уж лучше пойду к себе – выпью чаю, а то переполошила ты меня – и душа не на месте.

И Авдотья Харлампиевна, на которую неожиданная выходка Ольги Митриевны произвела какое-то тягостное впечатление, покинула флигель. Но через час велела послать Ольги Митриевне платье из голубого ситца в мелкий цветочек, башмаки и чепец. А кроме того, велела звать Ольгу Митриевну в дом к обеду.

За то время, что прошло между разговором с Ольгой Митриевной и присылкой платья, Авдотья Харлампиевна много передумала. Прежде всего, решила она, разговоры о чёрте относились именно к ней и значили недовольство Ольги Митриевны, говорившей тем самым: «А не пошла бы ты к чёрту?..» А это значит, что Ольга Митриевна чем-то недовольна. А раз она свесила ножки, не значит ли это, что ей хочется встать, только одежды нет приличной. И вот если этого-то Авдотья Харлампиевна не понимает, то пусть идёт к чёрту.

Именно поэтому Авдотья Харлампиевна решила отправить Ольге Митриевне платье младшей дочери и приглашение на обед. Посетителей немедленно разогнали, калитку закрыли, и Авдотья Харлампиевна уселась ждать, опасаясь отказа Ольги Митриевны и, в то же время, надеясь на её появление за общим столом.

И Ольга Митриевна явилась. В голубом платье в цветочек, в новых башмаках, лиловой скуфье вместо чепца и с «палицей иерусалимстей» в правой руке.

Обед был будничным, семейный. Правда, Нифонт Диомидович, задержавшийся в городе по делам, не присутствовал. Зато была хозяйка, обе дочери Заборовых и молодой учитель Феофилактов, единственный, наверное, в доме недолюбивавший Ольгу Митриевну. При её появлении он горько усмехнулся, причём, казалось, что вместо усмешки он хотел бы подняться и, указав на всю компанию каким-нибудь патетическим жестом, провозгласить: «Стыдитесь!» или: «Какие нравы!» Но отчего-то не поднялся и не провозгласил. Зато метнул полный презрения и благородного негодования взгляд на Авдотью Харлампиевну, вскочившую навстречу Ольге Митриевне и засуетившуюся вокруг дорогой гостьи. А Ольга Митриевна, всё время загадочно улыбающаяся, уселась за стол, склонила головку к правому плечу и обвела всех лукавым глазом. Перед ней поставили тарелку, но

Ольга Митриевна кушаньями не заинтересовалась. Зато неожиданно для всех и довольно проворно подтянула к себе графинчик, налила стаканчик и храбро его опорожнила.

– Господи Иисусе Христе! – только выдохнула Авдотья Харлампиевна да прижала руки к груди.

– Разве вам, Ольга Дмитриевна, водку пить полагается? – сквозь зубы спросил учитель Феофилакт, переводя взгляд с Ольги Митриевны на Авдотью Харлампиевну и буравя последнюю взглядом, как будто приписывал своему взгляду магические свойства, могущие, например, образумить заблудшую хозяйку. В ответ Ольга Митриевна налила себе ещё стаканчик и так же бесстрашно его осушила.

– Матушка ты моя!.. – заволновалась Авдотья Харлампиевна. – Да ты бы закусывала!.. Ведь с непривычки...

– Ну так как же, Ольга Митриевна? – не унимался учитель Феофилакт.

– А ты бы, Алексей Алексеевич, лучше бы кушал... – не поворачивая головы в сторону учителя недовольно проворчала Авдотья Харлампиевна, жалеющая, что свела его с матушкой и опасаясь, как бы с Феофилактова не начался скандал.

Но Ольга Митриевна и не думала скандалить. Напротив, лицо её так и сияло довольством. А посмотрев на Феофилактова своим лукавым глазком, она, шурясь как сытая кошка, изрекла:

– Водку наливаю – воду выпиваю... Не водкой пьянеют, не едой насыщаются, не сном высыпаются...

– Вот как? – оживился учитель. – Так, может быть, скажете, чем?

– Грех наделал прорех, – охотно объяснила Ольга Митриевна. – От греха голодаем, от греха пьянеем, от греха сатанеем.

– А вы, стало быть, Ольга Дмитриевна, греха-то не ведаете? – уточнил Феофилакт.

– Да что ты, батюшка, всё пристаёшь?! – воскликнула Авдотья Харлампиевна, начинавшая терять терпение. – Всё вольнодумство твоё...

Но ни учитель, ни даже Ольга Митриевна не обратили на Заборову внимания.

– Имеющий уши – видит... – прорекла Ольга Митриевна.

– Вот то-то я и смотрю... – обрадовался учитель и так оживился, как будто случилось, наконец, именно то, о чём он давно предупреждал.

А младшая заборовская дочка – Анна Нифонтовна – девица тринадцати лет, свежая, полная и румяная, то есть именно такая, какой и положено быть купечьей дочери, громко фыркнула и опустила голову, как бы прячась и как раз-таки не желая видеть.

Но Ольга Митриевна, по своему обыкновению, не думала смущаться и продолжала:

– Голода не боюсь, водки не страшусь, с чёртом поженюсь!..

– Господи Иисусе Христе! – снова не то вдохнула, не то выдохнула Авдотья Харлампиевна.

В это время внесли самовар, а ещё чайник и чашки с нарисованными ветками сирени. При виде этой сервировки Ольга Митриевна обрадовалась чему-то, засмеялась и, расставшись с «палицей иерусалимстей», которую она прислонила к столу, захлопала в ладоши.

Нужно отметить, что не только во внешности Ольги Митриевны произошли изменения. Она словно и внутренне округлилась и порозовела. Ольга Митриевна благодушествовала, и та суровая спесь, с которой она то кидалась в лужи, то из них выходила, грозя «палицей иерусалимстей», куда-то вся улетучилась. Прележав лето на перине, Ольга Митриевна переродилась. И теперь Ольга Митриевна с Солодовки ничем не напоминала Ольгу Митриевну с Балчуга или Болотной. Разве что по-прежнему прорекала в рифму и не расставалась с «палицей иерусалимстей».

Разлили чай. Не обошли и Ольгу Митриевну, перед которой поставили особый сливочник и особую сахарницу, потому что было известно, что Ольга Митриевна к сахару не равнодушна. Но ни сливки, ни сахар не заинтересовали так Ольгу Митриевну, как чайник с ветками сирени, которая лиловела, впрочем, и на чашках, и на сахарнице, и на сливочнике. Но Ольгу Митриевну привлёк именно чайник, и пока его носили по кругу, она, словно кошка с маленькой птички, глаз с него не спускала. Когда же его поставили на середину стола, Ольга Митриевна, подскочив, ухватила его за ручку и притянула к себе. После чего опустила на стул, а чайник поставила на колени. Авдотья Харлампиевна заволновалась и даже вытянула шею, стараясь разглядеть, что подельывает чайник. Учитель Феофилактов торжествовал, елозил на стуле и поминутно бросал на хозяйку такие взгляды, что, казалось, хотел источить яд глазами. Но наблюдавшая за разребячившейся Ольга Митриевной Авдотья Харлампиевна не замечала учителя. Между тем Ольга Митриевна, улыбающаяся своей новой, лукавой улыбкой, вдруг подняла чайник с колен и стала поливать заваркой подол голубого в цветочек платья.

– А-а-а! – сдавленно вздохнула Заборова. – Мат-тушки вы мои...

– Цветы полить, – охотно объяснила Ольга Митриевна свою выходку, – красоту продлить... Красота цветочная зело непрочная...

Учитель Феофилактов, исподлобья рассматривавший Ольгу Митриевну, пока та прорекала, презрительно фыркнул. При этом необъяснимым образом было понятно, что презрение относится не на счёт матушки, а насчёт всех тех, кто благоволил к ней, кто ей мирволил и являлся за утешением. Анна Нифонтовна тоже фыркнула, но совершенно беззлобно и даже весело. После чего опять опустила лицо, словно желая окунуть нос в чашку с чаем.

Но самым невероятным образом проявилась Авдотья Харлампиевна.

– Вот она, святость! – прошептала она, глядя во все глаза, как Ольга Митриевна поливает себя чаем. – Это она сказать хочет, что тщета в нарядах... Это она грехом нас укорила... суетой нашей... Власяницу надеть... вериги... и в Обнорск!..

Тут Авдотья Харлампиевна широко и со вкусом перекрестилась.

– Бога благодарить, что на старости лет сподобил угодницу приютить, – уже сквозь слёзы продолжала она. И вдруг воскликнула, точно в каком-то исступлении:

– На колени!.. На колени перед святой!..

И Авдотья Харлампиевна, прямо со стула опустившись на колени, поползла к Ольге Митриевне – благо, ползти было недалеко, – схватила её свободную от чайника руку и несколько раз облобызала с каким-то даже вожделением.

– Ну, знаете! – воскликнул в свою очередь учитель Феофилактов и подскочил. – Это уже чересчур!..

Сказав это, учитель с таким видом, как будто только что отказался принять взятку, бросился вон из столовой. За ним, давясь от смеха, выскочила Анна Ни-

фонтовна. А старшая сестра её – Наталья Нифонтовна – девица худая, бледная, с затянутыми назад волосами, молчавшая в продолжение всего обеда, подошла сзади к матери и, положив руки ей на плечи, сказала тихо:

– Маменька, встаньте... Вам нужно отдохнуть... А Ольгу Дмитриевну проводит Настя во флигель, ей тоже отдохнуть нужно...

Между тем и Настя, и две другие девушки, прислуживавшие за столом и бывшие свидетельницами полива цветов, по команде Авдотьи Харлампиевны и в самом деле опустили на колени. Правда, без ажитации хозяйки, а, скорее, с каким-то тупым равнодушием, просто потому, что так было велено. Причём каждая опустилась на колени в том самом месте, где застала её команда хозяйки.

\* \* \*

Ольгу Митриевну, раскисшую и сомлевшую, отвели во флигель, где она забралась на перину и немедленно уснула. Голубое в цветочек платье, залитое чаем, тотчас выстирали и тоже препроводили во флигель. Авдотья Харлампиевна думала призвать Ольгу Митриевну на ужин, но та до утра уже не просыпалась.

На другой день посетителей опять не пустили, сославшись на нездоровье матушки, а с третьего дня всё пошло своим чередом: Ольга Митриевна в постельке принимала страждущих, говорила в рифму о непонятном, хихикала и давала целовать ручку. Новое было, пожалуй, в том, что она как будто получала теперь удовольствие от лобзания руки и даже восклицала временами:

– Ещё! Ещё!..

Потом она кушала, как обычно, в постельке, но чаем себя больше не поливала.

Посетители, правда, отметили и ещё одно новшество: появилось в Ольге Митриевне что-то лукавое, к тому же она и посетителям объявила, что выходит замуж, чем ввела многих в смущение. О свадьбе она говорила уверенно, как о деле решённом. Уверяла, что в сентябре быть ей мужем и просила, чтобы несли ей побольше белых булок.

– Не совесть, не честь – надо тело наесть, – объясняла она необходимость в булках.

Когда же посетители недоумевали относительно замужества, Ольга Митриевна хихикала и пускалась в игривые рассуждения о мужатичах и голубицах. Но Москва вслед за Авдотьей Харлампиевной была озадачена и ждала чуда.

А Ольга Митриевна несмотря на жару лежала на перине, интригуя всех разговорами о предстоящей свадьбе и женихе. Когда же Авдотья Харлампиевна в очередной раз подступила с расспросами о том, кто жених и когда свадьба, Ольга Митриевна прорекла:

– Тебе ли бабьего дела не знать – сидеть да ждать... Вот жених придёт – к алтарю поведёт..

А на нетерпение Авдотьи Харлампиевны, выразившееся в вопросе:

– Когда... когда это будет?!.

Ольга Митриевна ответила:

– Грядёт жених среди своих...

Но тут Авдотья Харлампиевна задумалась, потому что слова «грядёт жених» напомнили ей «се, Жених грядет в полунощи» и наполнили душу благоговением и умилением. И она опять пришла к тому, что разговоры о женихе – это дела юродивые, и понимать их не следует буквально. А нужно найти какую-то

фигуру, прячущуюся за ними, и тогда только их смысл станет понятен. Однако эта фигура никак не отыскивалась, а Ольга Митриевна всё твердила о женихе и смотрела лукавым глазком.

Тем временем подошёл сентябрь. Москва радовалась, что начало осени выдалось сухим и тёплым. Повсюду жгли костры и собирали яблоки. На Солодовке, как и по всему Замоскворечью, давно уже варили ягоду, и стоял устойчивый запах варенья. А с грибного рынка на Москва-реке потянуло свежим грибом. И Авдотья Харлампиевна, прихватив с собой кого-нибудь из девушек, уже не раз отправлялась покупать грибки, потому что больше всего на свете любила солёные рыжики и чёрные грузди. А кроме того, гречневую кашу с опятами и солянку с белыми грибами.

Но когда однажды они явились домой с корзинами, рассуждая, что за грузди их раздеть хотели, а вот маслят можно было бы взять и что, пожалуй, стоило бы купить их завтра, Авдотья Харлампиевна обнаружила, что в столовой у неё сидит Ольга Митриевна. Причём одетая в старую свою срачицу, скуфью и с «палицей иерусалимстей» в руке. У Заборовой при виде Ольги Митриевны сердце захолонуло, и она без сил опустилась на стул.

– Что же это, матушка?.. – залепетала она. – Да неужто уходить от нас собралась?.. Не угодили?..

Но Ольга Митриевна, поразившая Авдотью Харлампиевну ещё и какой-то небывалой сосредоточенностью на предмете неведомом и невидимом, отвечала:

– Жених зовёт, под венец ведёт...

Заборова, которая как ни старалась, но иносказания с женихом так и не поняла, только руками всплеснула:

– Матушка ты моя!.. И точно... покинуть нас хочет... А я то – как же?.. Я то как же буду? С кем посоветоваться, у кого спроситься?.. Господи, несчастье какое!..

Но Ольга Митриевна, пребывавшая в какой-то печали, причины которой Авдотья Харлампиевна отнесла на счёт грядущего и, безусловно, волнительного, задумчиво прорекла в ответ:

– Луна в небе одна... А солнце висит в оконце...

Заборова притихла и задумалась, как это всегда случалось с ней после загадочных прорицаний матушки. А Ольга Митриевна продолжала:

– Пролетит птица, пробежит лисица – что назавтра к полудню случится?

– Что, матушка? – прошептала Авдотья Харлампиевна, подавшись вперёд.

– На свадьбу зову и синицу, и сову...

С этими словами Ольга Митриевна поднялась, перекрестилась на все четыре стороны, поклонилась четырежды земным поклоном и степенно двинулась к выходу. Авдотья Харлампиевна и девушки, выскочившие затем во двор, видели, как Ольга Митриевна прошествовала во флигелёк.

– Иди, Настя, иди за ней, – подтолкнула Настю Авдотья Харлампиевна. И Настя потрусила следом.

Посетителей в тот день совсем не было, потому что, как выяснилось позже, ещё с утра Ольга Митриевна объявила, что ей нужно к свадьбе готовиться, а разговаривать некогда и велела никого не принимать.

Возвратившись в дом, Авдотья Харлампиевна совершенно забыла о грибах и принялась раздумывать, что же всё-таки могут значить слова о свадьбе. Да

тут ещё примешался чёрт, который, со слов самой Ольги Митриевны, и был её женихом. Сначала Авдотья Харлампиевна подумала, что, говоря о женихе, Ольга Митриевна называет себя «Христовой невестой» – как монашествующую. И быть может, приходили среди посетителей к ней монахини и сманили в монастырь? Но что же значат разговоры о завтрашней свадьбе, назначенной на полдень, да ещё и с приглашением синиц и сов? Что если «синицы» и «совы» – это монахини, и что явятся завтра они за Ольгой Митриевной и увезут её? Но зачем тогда приплетает она чёрта? Или «чёрт» – это тоже что-нибудь иносказательное? А что такое «луна и солнце»? А «птица с лисицей»? Словом, как не ломала голову Авдотья Харлампиевна, а выдумать так ничего и не смогла.

Склоняясь в пользу монастырской версии, Авдотья Харлампиевна не была в ней уверена. Однако решила, что в любом случае завтра в полдень стоит отправиться ко флигелю. И не одной, а всем семейством и со всеми домочадцами в придачу, чтобы достойно проститься с матушкой, а может, и воспрепятствовать её увозу. Пока же оставалось только ждать, что случится в ближайшее время, и надеяться, что ничего не случится.

Вечером Авдотья Харлампиевна объявила домашним, что завтра в полдень ожидается нечто невероятное, а что именно – пока сказать она не может, но пусть все завтра соберутся во дворе, потому что то, что произойдёт, перевернёт, возможно, всю жизнь. На выражения Авдотья Харлампиевна не скупилась и так обрисовала завтрашний день, что переполошила и заинтриговала всех. Никто не стал расспрашивать Авдотью Харлампиевну, но все не на шутку разволновались. А на кухне и вовсе были предложены свои версии ожидаемого события, самая радикальная из которых сводилась к тому, что завтра в доме, а точнее, во флигеле, ждут высочайших посетителей.

Каждым из обитателей дома Заборовых овладело какое-то напряжение, похожее на предчувствие недоброго и опасного. Авдотья ли Харлампиевна так повела разговор или и в самом деле, приоткрылась дверь в предстоящее и пахло из неё тайной, но только дом насторожился и замер.

Ночью, казалось, никто не спал. Отовсюду из комнат слышался то кашель, то скрип половиц. А в окне учителя всю ночь виден был огонёк. Правда, учитель Феофилактов и прежде бывало засиживался по ночам, но в ту ночь это выглядело по-особенному. Да и сама ночь выдалась не совсем обычной. Воздух, напитанный нехитрыми, но по-осеннему печальными запахами сада, вливался в окна. Ветер прятался где-то между сараями. Даже листва, которой уж недолго оставалось до первых заморозков, замерла, словно в ожидании чего-то необычайного, что обязательно должно было произойти напоследок. И только луне ни до чего не было дела: она только что народилась и в блаженном неведении тянула губы навстречу ближайшей звезде.

\* \* \*

Рано утром Нифонт Диомидович ездил в лавки, но к одиннадцати вернулся домой. А без четверти двенадцать все домочадцы сбились у входа в дом. Каждый действительно хотел пойти к Ольге Митриевне, но каждый руководился собственным побуждением. Впрочем, было и нечто общее. А именно – любопытство. Авдотья Харлампиевна влеклась любопытством и благоговением. Учитель Феофилактов – любопытством и надеждой на разоблачение. Анна Нифонтовна

– любопытством и предвкушением чего-нибудь смешного или страшного. Слуги – любопытством и выпавшим вдруг правом на совершенно законное безделье. Нифонт Диомидович тоже любопытствовал и благоговел, но кроме того, желал бы во всём разобраться и, если нужно, как следует поклониться и воздать.

– Ну что ж, матушка, веди уж ты, – обратился к жене Нифонт Диомидович, – ты уж нас собрала, затейница, ты и веди...

И Авдотья Харлампиевна не заставила себя упрашивать.

Как только возглавляемая ею процессия, двигавшаяся гуськом по вытоптанной дорожке, что пересекала сад как плешь полысевшую голову, приблизилась к флигелю, навстречу им вышла Ольга Митриевна с зажжённой свечой в одной руке и палицей иерусалимстей в другой. На сей раз одета она была в белую срачицу, в которой принимала посетителей и которая теперь призвана была заменить ей венчальное платье. Правда, на голове вместо фаты сидела лиловая скуфья. Но это обстоятельство нисколько не повлияло на торжественность момента.

Выйдя к собравшимся, Ольга Митриевна поклонилась на все четыре стороны и, не глядя ни на кого, направилась вглубь сада. Вся ватага во главе с Авдотьей Харлампиевной двинулась следом. И только Настя, вышедшая из флигеля сразу за Ольгой Митриевой, отчего-то не тронулась с места, а так и осталась стоять на пороге, подпирая правым плечом косяк и мусоля тыквенные семечки – белые, плоские, похожие на начищенные монеты.

А Ольга Митриевна между тем торжественно прошествовала по огороду, ведя за собой обитателей дома Заборовых. Обойдя грядки, подошли к сараям, миновав которые, тропинкой по одному подтянулись к дому, откуда, кстати, и начиналось сегодняшнее шествие. Обогнули дом и уже по другой – поперечной – дорожке снова направились в сторону сараев и остановились перед каретным, глубоким, вечно тёмным, пахнущим мышами и кожами.

Ольга Митриевна остановилась. Остановились и остальные, сбившись немедленно теснее и с напряжённым ожиданием наблюдая за Ольгой Митриевой.

– Чертовщина какая-то, – побормотал учитель Феофилактов. – Нечего было сюда идти, путного всё равно не выйдет.

Ольга Митриевна опять поклонилась на все четыре стороны и с самым серьёзным видом отправилась в лоно сарая. Свеча в её руке давно уже потухла, но рубашка выделялась в темноте белым пятном. День был солнечный, на траве и дорожках под деревьями трепетали пятна света. И таким же пятном казалась Ольга Митриевна во мгле сарая. Но вдруг это пятно исчезло – должно быть, Ольга Митриевна скрылась за каким-то предметом. Зато из недр сарая донеслись невнятные звуки: стук, шорохи, вздохи.

Авдотья Харлампиевна обернулась и, найдя взглядом одну из девушек, сказала ей отрывисто:

– Поди, Глаша, посмотри: что там...

– Боязно! – прошептала Глаша, передёрнув плечами.

– Поди, поди... не бойся... Мы же тут все...

Глаша вздохнула и отправилась по следам Ольги Митриевны. Но уже в следующую минуту в сарае раздался грохот, и Глаша, бледная, с вытаращенными глазами, выскочила на улицу.

– Чего там? – воскликнула Авдотья Харлампиевна.

– Сами смотрите, – буркнула Глаша.

Между тем Нифонт Диомидович, за ним учитель Феофилактов, а за ними и все остальные бросились в сарай. В сарае было темно, тесно, и пока добрались до Ольги Митриевны, кто-то не раз споткнулся, а кто-то упал и выругался. Наконец, все увидели Ольгу Митриевну. И что же?..

В самом дальнем углу сарая на стене висело мочало, служившее некогда Ольге Митриевне поясом и завязанное теперь на конце петлёй. Под мочалом на перевёрнутом ящике стояла Ольга Митриевна и тихонько, пискляво пела:

– Гряди, гряди от Ливана невесто... Гряди, гряди от Ливана невесто... Прииде, прииде, ближняя моя... Прииде, прииде, добрая моя... Прииде, голубице моя...

При этом мочало опоясывало её шею, как некогда талию.

Никто и никогда не узнает: хотела ли Ольга Митриевна свести счёты с жизнью или петля на мочале имела другой – иносказательный смысл. Но видеть спокойно, как матушка возложила на выю петлю, пусть даже петля эта была из мочала, никто не мог, и немедленно, не сговариваясь и голося на разные голоса, бросились все высвободить Ольгу Митриевну из мочальных пут. Но Ольга Митриевна, ко всеобщему удивлению, подняла в ответ такой крик, что одна сумела перекричать всех.

– Венец оставьте! – вопила матушка, вырываясь из нескольких рук и одновременно пытаясь ухватить мочало. – Дайте венчаться, аспиды!.. Венец-то... венец оставьте!.. Бойтесь палицы иерусалимстей!.. Суженый мой!..

В пылу этой возни лиловая скуфья скатилась с головы Ольги Митриевны и, конечно же, была втоптана в земляной пол.

Наконец Нифонт Диомидович, учитель Феофилактов, дворник и повар вынесли Ольгу Митриевну на руках из сарая. При этом она неустанно извивалась, визжала и требовала венец. Рядом шла Авдотья Харлампиевна, плакала и повторяла:

– Это она, матушка, мученический венец ищет... Мученица!.. За нас, грешных, мученица...

– Надо было бы её оставить, да посмотреть: долго ли б она на мочалке-то провисела, – шипел учитель Феофилактов, которому выпало держать Ольгу Митриевну за ножки. – Надо же – такой спектакль!.. И ведь собрала дураков-то... все пришли посмотреть, как матушка под венец пойдёт...

– Венец отдайте, колодники! – как будто в ответ кричала матушка.

Хотели было отнести Ольгу Митриевну во флигель, но уже по дороге сообразили, что это невозможно, и отнесли её в дом. А поскольку и в доме она продолжала рваться и, будучи положенной на диван, скатилась на пол и принялась кататься, роняя стулья, ничего не оставалось делать, как связать Ольгу Митриевну и подумать о том, чтобы передать её попечению врачей.

Врачей пришлось призвать в тот же день, поскольку и с Авдотьей Харлампиевной сделалось дурно. Началось с того, что ею вдруг овладело какое-то странное, неизвестное чувство, ей вдруг открылся смысл вещей и слов. И всё, что говорила и делала Ольга Митриевна словно вдруг обнажилось в самой сути своей. Авдотью Харлампиевну охватил восторг такой силы, что она не справилась с его натиском и разрыдалась

– Вот о чём она, матушка, печалилась! – повторяла Авдотья Харлампиевна, икая от неостановимых рыданий. – Вот, что её слова о чёрте-то значат!..



О венчании-то с чёртом... Это она с врагом венчаться шла... А мы-то, мы-то... Неразумные! Что мы смыслим?.. Господи!.. Да ведь она о нас пеклась... К чёрту пошла, чтобы умолить его... чтобы смягчить... Чтобы от греха нас...

Авдотья Харлампиевна теперь твёрдо знала, чем именно могло осчастливить человечество венчание Ольги Митриевны с чёртом, и чувствовала вину, что невольно стала препятствием этому браку. Ведь не нам, убогим, судить Ольгу Митриевну. То есть судить-то мы, конечно, судим и будем судить, но надо же и понимать, что у таких людей с Богом свой разговор. И что уж если они что и делают, то это не просто с Божьего попущения, но и по наущению Божиюму. Потому что через таких людей Бог говорит со Своим стадом. И что бы такие люди ни делали, во всём следует видеть душеспасительный смысл и вразумление неведущим, каковыми мы все и являемся. А значит, и в этой мочалке вокруг шеи Ольги Митриевны – бездна всякого смысла и наставлений. Вот эта-то мысль и привела Авдотью Харлампиевну в восторг и умиление.

\* \* \*

Что же дальше? Ничего особенного. Москва, прослышав про эту историю, повалила в жёлтый дом «к матушке Ольге Митриевне». И точно так же в палате поставили кружку для гривенников. Точно так же прорицала матушка в рифму. Только вместо Насти откуда-то взялась сухонькая и злобная старушонка в белом платочке, большая сладёна и любительница рейнских вин. Да ещё время от времени – в новолуние – стала впадать матушка в буйство. Но это ничего, да и длилось недолго. На несколько дней визиты прекращались, и все говорили, что «матушка ярится». Но отъярившись, Ольга Митриевна успокаивалась, и тогда снова являлись посетители и ждали, что проречёт Ольга Митриевна. Да вот ещё что... Прорицания Ольги Митриевны, хоть и блюла матушка рифму, делались раз от разу всё менее связными и всё меньше отношения имели к действительной жизни. Но это не просто никого не смущало, но, напротив, укрепляло авторитет матушки. А если кто-то выражал сомнения или недоверие, благочестивые москвичи выталкивали хулителя вон, клеймя его безбожником и невером. И несчастному ничего не оставалось делать, как либо принять чудо об Ольге Митриевне, либо искать себе иных собеседников.

Многие в Москве уверовали, что Ольге Митриевне являлся чёрт и звал замуж, что она согласилась ради умиления чёртова сердца, а жених завёл её в каретный сарай на Солодовке и вместо венца нахлобучил на голову мочало. Но нашлись, как водится, и охальники, утверждавшие, что будто никакой чёрт не являлся, замуж не звал и мочалку не нахлобучивал. Что будто бы Ольга Митриевна сама соорудила себе удавку из мочала и чуть было не повесилась в злополучном сарае. На этом пункте охальники раскололись на два лагеря. Одни утверждали, что будто бы Ольга Митриевна с самого начала грезилась и в безумных грёзах своих видела жениха и все его богатства. А когда сооружала удавку, не ведала, что творила, воображая, что готовится надеть венец. Да и вообще с самого начала, с самого своего появления в Москве Ольга Митриевна была не в себе, чем и объясняются все её чудачества и настойчивые попытки прослыть юродивой. Болезнь же её, не просто не зная никаких препятствий, но даже напротив, встречая одни лишь поощрения и поддержку, только ускорила в своём развитии и неминуемо привела Ольгу Митриевну в сумасшедший дом.

В другом лагере утверждали, что Ольга Митриевна, будучи отменной выжигой, чудила со знанием дела, чему подтверждением деньги и золотые безделушки, найденные при ней в расписной шкатулке. И что будто бы петлю она соорудила, намереваясь свести счёты со своей лживой и трижды никому не нужной жизнью, не то снедаемая муками внезапно пробудившейся совести, не то по неизвестным, но вполне приземлённым причинам, судя по всему, её напугавшим. Чему, кстати, подтверждением и наступившее лжебезумие с последующим заточением в лечебницу, где, вполне вероятно, Ольга Митриевна нашла спасение от неизвестной, но наверняка существующей угрозы. Той самой угрозы, что чуть не загнала её в петлю.

Конечно, даже и в охальных предположениях бывает своя правда. В самом деле, неужто только никчёмная способность говорить в рифму и валяться то в грязи, то на перине могли внушить такое почтение к Ольге Митриевне? Ведь что же такое получается? Всё лето на Солодовке да и потом уже в жёлтом доме Москва кланялась и лобызала руки сумасшедшей? Нет. Конечно, этого просто не может быть. Вот почему, как это часто бывает, охальники со своими дерзкими фантазиями так и остались в меньшинстве.

